

ГОСПОЖА РЕМЮЗА



МЕМОАРЫ

Биографии и мемуары

Клара Ремюза

Мемуары госпожи Ремюза

«Издательство Захаров»

1802-1808

УДК 82-94
ББК 84(3)Фр

Ремюза К.

Мемуары госпожи Ремюза / К. Ремюза — «Издательство
Захаров», 1802-1808 — (Биографии и мемуары)

ISBN 978-5-8159-1066-9

Один из трех самых знаменитых (наряду с воспоминаниями госпожи де Сталь и герцогини Абрантес) женских мемуаров о Наполеоне принадлежит перу фрейлины императрицы Жозефины. Мемуары госпожи Ремюза вышли в свет в конце семидесятых годов XIX века. Они сразу возбудили сильный интерес и выдержали целый ряд изданий. Этот интерес объясняется как незаурядным талантом автора, так и эпохой, которая изображается в мемуарах. Госпожа Ремюза была придворной дамой при дворе Жозефины, и мемуары посвящены периоду с 1802-го до 1808 года, т. е. охватывают последние годы Консульства и первые годы Империи. Госпожа Ремюза отличалась способностью к тонкому психологическому анализу, и читатель найдет в ее мемуарах целый ряд блестящих характеристик.

УДК 82-94
ББК 84(3)Фр

ISBN 978-5-8159-1066-9

© Ремюза К., 1802-1808
© Издательство Захаров, 1802-1808

Содержание

Предисловие внука	6
Вступительные характеристики	27
Книга первая	44
Глава I	44
Глава II	59
Глава III	66
Глава IV	76
Глава V	86
Конец ознакомительного фрагмента.	87

Мемуары госпожи Ремюза

МЕМУАРЫ ГОСПОЖИ РЕМЮЗА

(1802–1808 гг.),

изданные с предисловием и примечаниями ее внуком Полем Ремюза.

Перевод с 24-го французского издания О.И.Рудченко

© «Захаров», 2011

Предисловие внука

I

Отец оставил мне мемуары моей бабушки, придворной дамы императрицы Жозефины, и поручил их напечатать. Он приписывал этому труду необыкновенное значение для истории первых лет текущего века. Постоянно мечтал он их напечатать, и постоянно ему мешали занятия, обязанности или сомнения. Но истинной причиной, почему пришлось отложить момент, когда публика могла бы познакомиться с этими драгоценными воспоминаниями об эпохе, еще такой близкой и так плохо известной, было именно то, что эта эпоха еще так близка к нам и значительное количество лиц еще живы. Хотя автора нельзя обвинить в сколько-нибудь систематическом недоброжелательстве, но мы встречаем абсолютную свободу мнений обо всем и обо всех. Мы обязаны по отношению к живым и даже к детям умерших уважением, с которым не всегда мирится история.

Но время шло, причины молчания уменьшались с годами. Кажется, около 1848 года отец мой решился напечатать эту рукопись, но вскоре наступила эпоха возвращения Империи и императора. Эта книга могла бы быть принята за лесть по адресу сына королевы Гортензии¹, к которой, действительно, автор относится крайне бережно, или же за прямое оскорбление династии. Таким образом, обстоятельства придали бы характер полемики труду, имеющему характер объективной истории. Они могли бы превратить в политический акт простой рассказ выдающейся женщины, передающей с подъемом и искренностью то, как она представляла себе царствование и весь двор Наполеона, что она думала об особе императора. Во всяком случае, вероятно, книга подверглась бы преследованию, и ее издание было бы запрещено. Надо ли прибавить для тех, кто сочтет недостаточными эти деликатные причины, что отец мой только с величайшей осторожностью рисковал выставить перед публикой имена, которые были ему дороги. А между тем он охотно вверял свою политику, свои взгляды и саму личность обсуждению журналов и критики и сам жил в сфере самой широкой гласности. Но для лиц, дорогих ему, он боялся малейшей суровости, самого мелкого порицания. По отношению к матери он был крайне сдержан. Мать оставалась предметом страстной любви всей его жизни. Он приписывал ей и счастье первых лет своей юности, и все заслуги, все успехи своего существования. Он был связан с ней столько же по уму и сердцу, сколько и по сходству идей, а также узами сыновней любви. Ее мысли, воспоминание о ней, ее письма играли в его жизни такую роль, о которой немногие подозревали, так как он редко говорил о ней, и именно потому, что всегда о ней думал и боялся встретить со стороны других недостаточное восхищение. Кому не знакома эта сильная страсть, которая навеки связывает нас с теми, кто более не существует, о ком вечно думаешь, о чьих советах и влиянии мечтаешь, чье присутствие чувствуешь ежедневно в дни обычные, как и в дни исключительные, во всех поступках – и личных, и общественных? Эта же страсть мешает говорить о них другим, даже самым близким друзьям, мешает слушать без страдания или беспокойства дорогое имя. Очень редко сладость похвалы по отношению к этому лицу, высказанная другом или посторонним, делает переносимым это глубокое волнение.

Если деликатная и естественная осторожность заставляет печатать эти мемуары только по истечении долгого времени, то не следует и слишком запаздывать. Лучше, если книга выйдет до того времени, когда не останется ровно ничего от рассказанных событий, пережитых

¹ Наполеон III (1808–1873) – сын Гортензии Богарне (королевы Голландии), император французов с 1852-го по 1870 год.

впечатлений и свидетельств очевидцев. Для того чтобы точность или по крайней мере искренность не были оспариваемы, необходима проверка воспоминаний всякой семьи, и хорошо, если поколение, которое их читает, прямо происходит от того, которое изображено. Полезно, чтобы описанные времена не совсем бы еще превратились во времена исторические.

В данном случае так оно и есть, до известной степени, и великое имя Наполеона еще является предметом спора различных партий. Интересно прибавить новые данные к спорам, раздающимся вокруг великой тени. Хотя мемуары об императорской эпохе многочисленны, но в них никогда не говорилось подробно и независимо об интимной стороне придворной жизни, и для этого, конечно, были веские причины.

Чиновники или люди, стоявшие близко ко двору Бонапарта, не любили, даже когда он стал императором, говорить с полной искренностью о времени, которое провели с ним. Большинство из них, став легитимистами после Реставрации, были несколько унижены службой узурпатору, в особенности же ролью, которая могла быть облагорожена только наследственным величием того, кто ее давал. Их потомки иной раз сами были бы в затруднении опубликовать такие рукописи, если бы и получили их от авторов.

Вероятно, трудно найти издателя, который чувствовал бы себя в этом отношении свободнее, чем пишущий эти строки. Для меня гораздо важнее талант писателя и польза от его книги, чем разница во взглядах моей матери и ее потомков. Жизнь моего отца, его слава, его политические взгляды – все, что я получил как драгоценное наследие, избавляет меня от объяснений, как и по каким причинам я не разделяю всех идей автора этих мемуаров. Напротив, нетрудно было бы найти в этой книге первые следы либерализма, который одушевлял моих дедушку и бабушку в первые дни Реставрации и который так счастливо развился и преобразовался у моего отца. Надо было быть почти либералом, чтобы в конце 18-го века не возненавидеть принцип политической свободы, именем которой столько людей называли множество преступлений.

Подобного беспристрастия, столь драгоценного и столь редкого у современников великого императора, мы не найдем даже в наши дни у тех, кто служит правителю, менее способному ослепить приближенных. Но такое чувство нетрудно проявлять в наши дни. Обстоятельства привели Францию к такому настроению умов, когда все можно принять, обо всем судить справедливо. Мы видели, как несколько раз менялось мнение о первых годах нашего века. Даже люди среднего возраста помнят время, когда легенда Империи была принята всеми, когда можно было безопасно восхищаться ею, когда дети верили в императора, великого и вместе с тем добродушного, напоминающего доброго Бога Беранже, который, впрочем, и делал героями своих од именно эти две личности. Самые серьезные враги деспотизма, те, кто позднее испытали преследования новой империи, совершенно спокойно возвращали останки Наполеона Великого, придавая античный характер вполне современной церемонии. Позднее даже у тех, кто не вносил страсти в политику, опыт Второй империи открыл глаза на Первую.

Разгром, который навлек Наполеон III на Францию в 1870 году², напомнил о том, что это роковое дело начал другой император, и чуть ли не всеобщее проклятие срывалось с уст при имени Бонапарта, которое произносилось некогда с почтительным энтузиазмом. Так колеблется суд наций! Однако можно сказать, что суд Франции наших дней ближе к справедливому суду, чем в те времена, когда он опирался на стремление к покою или на боязнь свободы, а в лучшем случае – на страсть к военной славе. Но между этими двумя крайностями сколько было различных мнений, сколько было лет колебаний и упадка!

Я думаю, все признают, что автор этих мемуаров, явившись ко двору в дни своей молодости, не имела никаких предвзятых идей относительно проблем, которые волновали общество в те времена и теперь еще волнуют. Конечно, признают, что мнения писавшей эти мемуары

² Имеются в виду Франко-Прусская война и Сентябрьская революция 1870 года.

сложились постепенно, как и мнения всей Франции, также еще очень молодой в те времена. Она была пленена и опьянена гением, потом постепенно овладела собой при свете совершившихся событий или благодаря знакомству с известными лицами и типами.

Многие из наших современников найдут в этих мемуарах объяснение поведения или настроения умов некоторых из своих близких, в которых необъяснимой казалась смена бонапартизма либерализмом.

Беглый обзор жизни моей бабушки или, по крайней мере, тех времен, которые предшествовали ее появлению при дворе, необходим для того, чтобы хорошо понять впечатления и воспоминания, которые она с собой принесла.

Отец мой часто составлял план и даже приготовил некоторые части полного жизнеописания своих родителей. Он не оставил ничего законченного по этому вопросу, но сохранилось большое количество заметок и отрывков, написанных им самим или его близкими, касающихся взглядов его юности и лиц, которых он знал. Все это облегчает мне задачу, и я могу теперь точно рассказать историю молодости моей бабушки, – описать те чувства, с которыми она явилась ко двору, и те обстоятельства, которые побудили ее написать эти мемуары. Это же дает возможность прибавить сюда некоторые суждения о ней ее сына, они заставят понять и полюбить ее. Отец мой очень желал, чтобы читатель испытал это чувство, и действительно трудно не полюбить ее, читая эти воспоминания.

II

Клара Елизавета Жанна Гравье Вержен, родившаяся 5 января 1780 года, была дочерью Карла Гравье Вержена, который являлся советником бургундского парламента, докладчиком, затем комендантом Оша и, наконец, податным инспектором. Женился он на Адelaide Франсуазе Батар, родившейся около 1760 года в семье родом из Гаскони, ветвь которой поселилась в Тулузе. Ее отец, Доминик Батар, был членом парламента и умер старейшиной сословия. Его бюст находится в Капитолии в зале знаменитостей. Он принимал деятельное участие в реформах канцлера Мону.

Карл Гравье Вержен не носил никакого титула, так как принадлежал к судейскому дворянству. Это был человек, как говорят, ума посредственного, любящий развлекаться, но неразборчивый в удовольствиях, впрочем, рассудительный, – одним словом, хороший человек, принадлежащий к той школе администрации, во главе которой стояли Трюдэны.

Госпожа Вержен была женщиной более оригинальной, умной и доброй, о ней отец мой говорил часто. Еще ребенком он был близок с ней, как это случается между бабушкой и внуком. В своей собственной веселости, милой и покладистой, насмешливой, но добродушной, он находил некоторые ее черты, так же, как в голосе и в привычке запоминать арии, куплеты из водевилей и старые народные песни. Она была проникнута современными ей идеями: немного философии, но не доходящей до неверия, некоторое отдаление от двора и много уважения и привязанности к Людовику XVI. Ее живой и ясный ум, веселый и свободный, был хорошо развит, ее речи были пикантны и иногда, по обычаю века, слишком смелы. Тем не менее она дала двум своим дочерям, Кларе и Алисе, строгое и несколько замкнутое воспитание, так как мода требовала, чтобы дети мало видели своих родителей. Обе сестры занимались в дальней нетопленной комнате под руководством гувернантки, совершенствуясь в легких, если можно так выразиться, искусствах: музыке, рисовании, танцах. Их редко водили в театр, иногда, впрочем, – в оперу, время от времени – на бал.

Вержен не предвидел и не желал революции. Однако он не слишком негодовал и не слишком испугался. И он сам, и его друзья составляли часть той буржуазии, которая достигала дворянства занятием общественных должностей, которая как бы казалась самой нацией, и он был вполне на месте среди избирателей 1789 года: его избрали начальником батальона националь-

ной гвардии, и он стал членом коммунального совета. Лафайет, на внучке которого сорок лет спустя женился его внук и мой отец, и Ройе-Коллар, место которого во Французской академии этот внук занял, смотрели на него как на одного из своих. Нужно сказать, что взгляды Вержена совпали скорее со взглядами второго, чем первого.

Революция вскоре настигла его, однако он не имел никакой склонности эмигрировать. Его патриотизм, так же, как и привязанность к Людовику XVI, побуждал его остаться во Франции. И поэтому Вержен также не избежал участи, угрожавшей в 1793 году всем, кто занимал такое же положение и отличался такими же чувствами. Ложно обвиненный в эмиграции администрацией департамента Соны и Луары, которая наложила секвестр на его имущество, он был арестован в Париже на улице Св. Евстафия, где жил с 1788 года. Тот, кто арестовал его, имел приказ от Комитета общественной безопасности, касающийся только его отца, но схватил и сына – потому лишь, что тот жил с отцом. И оба замерли вместе на одном эшафоте 24 июля 1794 года, за три дня до падения Робеспьера.

Вержен, умирая, оставлял жену и двух дочерей в самом ужасном положении, одинокими и даже в стесненных материальных обстоятельствах, так как незадолго до этого продал свое имение в Бургундии, а сумма, полученная им, была конфискована. Он им оставил, однако, покровителя, не обладавшего могуществом, но имевшего самые добрые намерения и доброжелательное отношение. В первые дни революции Вержен познакомился с молодым человеком, семья которого некогда отличалась в среде торговцев и чиновников Марселя, благодаря чему дети начали служить в магистратуре и в армии, словом, среди привилегированных. Августен Лаврентий Ремюза родился в Валансоле, в Провансе, 28 августа 1762 года. По окончании блестящих занятий в Жюльи, древнем колледже конгрегации Оратории, который существует до сих пор близ Парижа, в двадцать лет он сделался генеральным адвокатом в Счетной палате и Государственной коллегии Прованса. Мой отец набросал портрет этого молодого человека и описал его прибытие в Париж и жизнь среди нового общества.

«Общество в Э, дворянском и парламентском городе, было довольно блестящее. Мой отец часто бывал в свете. Он обладал приятной внешностью, известной тонкостью ума, веселостью, мягкими и вежливыми манерами, утонченной любезностью. Он достиг успеха, какого только может пожелать молодой человек: занимался профессией, которую любил, и в 1783 году женился на мадемуазель де Санн, дочери генерального прокурора. Но этот брак был непродолжителен; у них родилась дочь, которая, кажется, умерла тотчас же, вскоре за ней последовала мать.

Разразилась революция. Высшие суды были уничтожены. Выкуп должностей был для них важным делом, и для этого Счетная палата отправила в Париж депутацию. Отец мой был одним из делегатов. Он мне часто говорил, что тогда имел случай видеть Мирабо, депутата от Э, и, несмотря на свои предубеждения члена парламента, был очарован его немного торжественной вежливостью.

Никогда не рассказывал мне отец подробно, как он жил. Я не знаю также, какие обстоятельства привели его к моему дедушке Вержену. Одинокий и никому не известный в Париже, он без особых тревог провел там самые тяжелые годы революции. Общества в то время не существовало.

Тем более это знакомство было приятно и даже полезно моей бабушке (госпоже Вержен) среди волнений, а позднее и бедствий. Отец часто говорил, что дед не был человеком выдающимся, но он скоро сумел оценить мою бабушку, которая, со своей стороны, была к нему благосклонна. Бабушка была женщиной разумной, без иллюзий, без предрассудков, без увлечений; она относилась недоверчиво ко всяким преувеличениям, ненавидела аффектацию, но любила серьезные достоинства и правдивые чувства, а проницательный ум, точный и насмешливый, предохранял ее от всего, что не было ни благоразумным, ни нравственным. Ее ум нико-

гда не был жертвой сердца. Но так как она несколько страдала от невнимания мужа, который был ниже ее, то была склонна брать на себя решение и выбор в вопросе о браке.

Когда после смерти моего деда дворянам было декретом приказано покинуть Париж, она удалилась в Сен-Грасьен, что в долине Монморанси, с двумя дочерьми, Кларой и Алисой, и позволила моему отцу за собой последовать. Его присутствие было для них драгоценно. У отца было всегда ровное настроение, покладистый характер, он внимательно и заботливо относился к тем, кого любил. Он был склонен к тихой жизни и деревенскому уединению; его утонченный ум был источником удовольствия для общества, составленного из образованных лиц, где интересовались воспитанием.

Едва ли возможно допустить, что моя бабушка не предвидела заранее и не была согласна на все дальнейшее, даже предполагая, что тогда еще нельзя было ничего прочесть в сердце ее дочери. Но несомненно (и она говорит об этом во многих письмах), что, хоть мать моя была еще ребенком, ее рано созревший ум, восприимчивое сердце, живое воображение, наконец, одиночество, несчастье и сама близость, – все эти причины, вместе взятые, внушили ей по отношению к моему отцу живейший интерес, который с самого же начала получил характер экзальтированного и прочного чувства. Едва ли я встречал когда-нибудь женщину, у которой бы ярче, чем у моей матери, соединились воедино нравственная страсть и романическая чувствительность. Ее молодость протекала в счастливых условиях, которые привязали ее к долгу силой страсти и привели в конце концов к редкому и трогательному единению между душевным миром и волнениями сердца.

Невысокого роста, но хорошо сложенная, она была свежа и полна; боялись, как бы она не получила склонности к излишней полноте. Глаза ее были прекрасны и выразительны, черного цвета, как и ее волосы; черты лица правильны, но несколько крупны. Лицо ее было серьезно, почти строго, хотя взгляд, полный тонкой мягкости, значительно умерял эту строгость. Ее ум, прямой и отзывчивый, даже творческий, отличался некоторыми мужскими свойствами, которые часто вступали в спор с необыкновенной живостью ее воображения. У нее были правильные суждения, наблюдательность, много искренности в манерах и даже в выражениях, хотя она не чужда была известной утонченности понятий.

Моя мать была, по существу, женщиной благоразумной, но с горячей головой. Ее ум был благоразумней ее самой. В молодости ей недоставало веселости и непринужденности. Она могла казаться педанткой, потому что была серьезна, аффектированной – потому что была молчалива, рассеянна и равнодушна к мелочам текущей жизни. Но с матерью, которую она несколько стесняла в ее веселости, и с мужем, при его простом вкусе и покладистом уме (которых она никогда не тревожила), она бывала и оживлена и откровенна. С годами в ней развился известный род веселости. В молодости она была несколько самоуглубленной, но постепенно стала больше походить на мать. Я часто думал, что если бы она прожила достаточно, чтобы оказаться в атмосфере, в какой я теперь живу, то была бы самой веселой из всех нас».

Отец мой написал эту заметку в 1857 году в Лафите (в Верхней Гаронне), когда все, кого он любил, были с ним, счастливые и довольные. Впрочем, эта цитата относится к более позднему времени, так как в ней он говорит о матери как о женщине, а не как о молодой девушке, а Клара Вержен была еще очень молоденькой, когда вышла замуж в начале 1796 года: ей едва исполнилось шестнадцать лет.

Господин и госпожа Ремюза жили временами в Париже, временами в Сен-Грасьене, в очень скромном деревенском доме. Его окрестности были весьма привлекательны благодаря красоте места и прелести соседства. Самыми близкими и милыми из соседей были владельцы Саннуа, с которыми госпожа Вержен была очень близка.

«Исповедь» Жан-Жака Руссо, «Мемуары» госпожи д'Эпине и множество произведений прошлого века познакомили публику с этими местами и их жителями.

Между обитателями Саннуа и Сен-Грасьена вскоре установилась полная близость, и, когда мои бабушка и бабушка продали свое имение, они приискали дом еще ближе к друзьям, и их сады сообщались посредством особого входа.

Однако все чаще и чаще Ремюза бывал в Париже и, так как времена становились более спокойными, мечтал выйти из неизвестности и – зачем скрывать? – из стесненного положения, в которое жена была поставлена конфискацией имущества Вержена, а муж – лишением места в магистратуре. Естественно было, как это всегда случается в нашей стране, подумать о получении общественной должности. Не имея никакого отношения ни к правительству, ни к Талейрану, который был тогда министром иностранных дел, Ремюза пристроился к этому департаменту. Он получил не определенное место, но занятие, дававшее возможность получить должность в министерстве.

Кроме отношений, очень приятных и чисто интеллектуальных, с обитателями Саннуа, жители Сен-Грасьена завязали отношения менее близкие, но оказавшие в будущем большое влияние на их судьбу, – с госпожой Богарне, сделавшейся, как известно, в 1796 году госпожой Бонапарт. Когда эта последняя стала могущественной, благодаря всемогуществу ее мужа, госпожа Вержен попросила у нее покровительства для своего зятя, который желал получить место в Государственном совете или в администрации. Но у Первого консула и его жены были другие планы: известность, которой пользовалась госпожа Вержен, ее общественное положение, ее имя, принадлежавшее старому порядку и идеям нового времени, придавали определенную цену связи консульского дворца с ее семьей. Двор в то время имел мало отношения к парижскому обществу, и вот вдруг, в 1803 году, Ремюза был назначен префектом дворца. Немного позднее госпожа Ремюза начинает сопровождать госпожу Бонапарт и вскоре становится придворной дамой.

III

Взгляды четы Ремюза не требовали от них никакой жертвы, чтобы примкнуть к новому режиму. У них не было ни экзальтированных чувств роялистов, ни республиканской суровости. Конечно, они стояли ближе к первому взгляду, чем ко второму, но их роялизм ограничивался уважением, полным благоговения, по отношению к Людовику XVI. Несчастья, пережитые этим королем, делали воспоминание о нем трогательным и священным, и его особа в семье Вержен была предметом особенного почтения.

Но тогда еще не был изобретен легитимизм, и те, кто особенно горячо оплакивали падение старого порядка, или, вернее, старой династии, не считали нужным думать, что все происходящее во Франции без Бурбонов не имело никакого значения. Безоблачное восхищение окружало молодого генерала, покрытого славой. Он блестяще восстанавливал если не нравственный, то материальный порядок в обществе, волнения которого носили совершенно иной характер, чем это было позднее, когда явилось столько недостойных спасителей. Впрочем, чиновники сохранили воззрение, что должностное лицо ответственно только за то, что оно делает, но не за происхождение или действия правительства, – воззрение, впрочем, вполне естественное при старом порядке. Чувства солидарности в абсолютных монархиях не существует. К счастью, парламентарный режим сделал нас более деликатными, и честные люди признают, что коллективная ответственность существует между всеми агентами власти. Можно служить только тому правительству, направление и общую политику которого признаешь правильными. В те времена было не так; и вот как объяснял это мой отец, имевший больше права, чем кто бы то ни было, быть строгим в этом отношении. Он, может быть, своей утонченной политической деликатностью был обязан тому трудному положению, в котором видел своих родителей в детстве, когда сталкивались их чувства и их официальные обязанности. И вот,

повторяю, как объяснил он это в письме к Сент-Бёву, которому хотел сообщить некоторые биографические подробности для статьи в «Обозрении Старого и Нового Света»:

«Родители мои привязались к новому режиму не вследствие выбора наименьшего зла, не по необходимости или слабости, не по искушению или по случайности. Свободно и доверчиво связали они с ним свою судьбу. Если добавить к этому все удобства, доставляемые легким и видным положением, вместо стесненного положения и неизвестности, интерес и удовольствия, какие представлял этот двор нового сорта, наконец, несравненный интерес созерцать такого человека, как император, в эпоху, когда он был вполне безупречен, молод и приветлив, – вы легко поймете то, что привлекало моих родителей и заставляло их забыть, насколько новое положение могло, по существу, мало соответствовать их вкусам, взглядам и даже истинным интересам. Через два-три года они хорошо поняли, что всякий двор есть всегда двор и не всегда приятно лично служить абсолютному господину, даже тогда, когда он нравится и ослепляет. Но это не помешало им быть весьма долгое время довольными своей судьбой. Особенно мать мою очень забавляло все, что она видела; у нее были очень нежные отношения с императрицей, которая была необычайно добра и мила; она увлекалась императором, который при этом ее отличал: она была, пожалуй, единственная женщина, с которой он беседовал. В конце Империи мать моя говорила иногда: «Я слишком любила его для того, чтобы не начать ненавидеть»».

Впечатления, которые получила новая придворная дама при новом дворе, не дошли до нас. В то время сильно не доверяли почте; госпожа Вержен сжигала все письма дочери, и ее переписка с мужем начинается несколькими годами позднее, во время путешествия императора по Италии и Германии. Однако из этих мемуаров, не изобилующих личными чертами, видно, как все было ново и любопытно для очень молодой женщины, вдруг перенесенной в этот дворец и стоящей так близко к интимной жизни прославленного главы неизвестного правительства. Она была серьезна, как это бывает в юности, когда женщина не легкомысленна, а склонна много наблюдать и много думать. По-видимому, у нее не было никакого самолюбия в том, что касалось внешней жизни, никакой склонности к осуждению, никакого желания блистать или говорить. Что думали о ней в то время? Мы этого совсем не знаем, хотя в некоторых местах писем или мемуаров есть доказательства, что ее находили умной и слегка ее побаивались. Возможно, однако, что ее друзья или подруги находили ее скорее педантичной, чем опасной.

Госпоже Ремюза все удавалось, особенно в первое время. Двор был немногочислен; невозможно было добиться почти никаких отличий или милостей, мало было соперничества. Но мало-помалу это общество сделалось настоящим двором. Кроме того, придворные боятся ума, особенно стремления умных людей бескорыстно интересоваться окружающим, судить о людях, не стараясь найти полезного применения этой науке. Они склонны всегда подозревать скрытую ото всех взоров цель. Выдающиеся личности бывают живо охвачены зрелищем человеческих событий, даже если они хотят быть только зрителями. Они любят, как говорят недоброжелательно и неправильно, вмешиваться даже в то, что лично их не касается. Эта способность менее всего понятна тем, кто ее лишен и относит ее к известным задним мыслям, известным личным расчетам. Все люди подвергаются подобным подозрениям, но особенно опасны они по отношению к женщине, одаренной несколько болезненным воображением, способной чувствовать живой интерес к делам, ее не касающимся. Многие, особенно в том, несколько грубоватом обществе, должны были найти претенциозность и самолюбие в ее разговорах и в самой жизни, а порой и обвинить ее несправедливо в честолюбии.

Но муж ее должен был казаться совершенно непричастным ни к интригам, ни к честолюбию. Положение, которое создавала ему благосклонность Первого консула, не соответствовало его желаниям: он бы, конечно, предпочел какую-нибудь административную должность, связанную с известным трудом. Здесь же он находил применение только своей обходительности и мягкости. Судя по тому, каким он предстает перед нами в письмах, мемуарах и рассказах моего

отца, мой дед отличался добродушием и тонкостью, здравым смыслом и ровным настроением – всем тем, что позволяло не создавать врагов. У него никогда их и не было бы, если бы известная застенчивость, которая плохо мирится с приятностью разговора и отношений, любовь к покою и некоторая леность не склоняли бы его все более и более к уединению и отчуждению.

В нем присутствовали и скромность, и самолюбие, которые, не делая его нечувствительным к почестям достигнутого ранга, заставляли краснеть от торжественных пустяков, которыми ему приходилось заниматься в силу этого положения. Он думал, что заслуживает большего, и не любил добиваться того, что не приходило само собой. Он не любил выдвигаться вперед, а его равнодушие как раз подходило к его беспечности.

Позднее Ремюза стал трудолюбивым префектом, но как придворный он был нерадив и бездеятелен. Он употреблял свое умение жить только для того, чтобы избегать столкновений и исполнять свои обязанности со вкусом и должной мерой. Приобретая много друзей и много связей, он не заботился о том, чтобы их поддерживать. Если не прилагать стараний, связи рвутся, воспоминания сглаживаются, появляются соперники, и все возможности успеха ускользают. По-видимому, дед никогда и не жалел об этом. Я мог бы легко объяснить причины и изобразить в подробностях этот характер, его недостатки, его неприятности и даже перенесенные им страдания. Это был мой дедушка.

Первое жестокое испытание, которое ожидало господина и госпожу де Ремюза в их новом положении, было убийство герцога Энгиенского. Вдруг увидеть, как тот, которым все восхищались, которого старались полюбить как само воплощение власти и гения, покрыл себя невинной кровью, притом понять, что это было результатом холодного и бесчеловечного расчета, – все это должно было причинить глубокие страдания, о чем свидетельствует этот рассказ. Замечательно, что впечатление у честных придворных было даже сильнее, чем у людей со стороны. Кажется, к преступлениям такого рода чувства общества уже несколько притупились. Даже у роялистов, враждебно относившихся к правительству, это событие вызвало больше огорчения, чем негодования, – так были извращены умы в области политической справедливости и государственной необходимости. Но откуда современники почерпнули бы правильные принципы? Разве могли их так воспитать террор или старый порядок? Немного времени спустя глава церкви приехал в Париж, и среди мотивов, которые заставляли его колебаться в короновании нового Карла Великого, едва ли этот мотив имел хоть какое-нибудь значение. Пресса была нема, а для того, чтобы негодовать, люди нуждаются хотя бы в том, чтобы их предупредили. Будем надеяться, что цивилизация совершила такой скачок, что возвращение подобных событий невозможно. То, что мы видели в наши дни, запрещает нам быть по этому вопросу слишком большими оптимистами.

Нижеследующие мемуары как раз изображают жизнь автора в это время и историю первых годов этого века. Из них будет видно, какое изменение внесло установление Империи в жизнь двора и насколько эта жизнь стала более трудной, как уменьшался престиж императора, по мере того как он злоупотреблял своими способностями, своими силами, своими успехами. Увеличивались неудовольствия, неудачи, неисполнения обязательств. Вместе с тем связь с первыми почитателями становится менее драгоценной, и перемена в мыслях влияет и на саму службу.

По своим естественным чувствам, по принадлежности к семье, по своим связям Ремюза, стоящие между двумя партиями, которые ссорились из-за милости господина, между Богарне и Бонапартами, считались принадлежащими к первым. Их положение оказалось в прямой связи с немилостью и отъездом императрицы Жозефины. И когда ее придворная дама последовала за ней в ее убежище, император, по-видимому, не старался ее удержать. Может быть, ему казалось удобным иметь около своей покинутой и несколько неосторожной супруги особу со здравым смыслом и умом; но вместе с тем и плохое здоровье моей бабушки, желание отдыха и нежелание веселья и блеска отдалили ее от придворной жизни.

Ее муж, разочарованный, недовольный, с каждым днем все более и более поддавался своему настроению, своему нежеланию показываться и искать расположения около холодного и чуждого величия. Особенно охладил он к своим обязанностям камергера, чтобы замкнуться в административных обязанностях по делам театра, которые он исполнял необыкновенно удачно. Значительная часть современных установлений французского театра обязана ему своим происхождением.

Мой отец, родившийся в 1797 году, еще, конечно, очень юный, когда его отец был камергером, но любознательный, с рано пробудившимся умом, имел очень точное воспоминание об этих временах недовольства и разочарования. Он рассказывал мне, что часто видел отца, возвращавшегося из Сен-Клу в угнетенном настроении, подавленного той тяжестью, которая давила всех, кто приближался к этому могущественному императору. Жалобы отца раздавались в присутствии ребенка в те минуты, когда проявлялась его искренность. Овладев собой, в другие дни он старался казаться довольным своим господином и своей службой и не посвящал сына в свои огорчения. Быть может, он был скорее создан для того, чтобы служить Бонапарту – простому, веселому, скромному, умному, для которого были еще новы удовольствия власти, чем Наполеону – с притупившимися чувствами, опьяненному, внесшему дурной вкус в придворную обстановку и день ото дня все более требовательному в церемониале и льстивых проявлениях.

Обстоятельство, по-видимому, ничтожное, важность которого не сразу поняли те, кто был заинтересован, увеличило затруднения этого положения и ускорило неизбежность развязки. Хотя эта история несколько пуста, ее прочтут не без интереса; она лучше осветит это время, к счастью, далекое от нас, которое не возродится, если у французов есть какая-нибудь память.

Знаменитый Лавуазье был в близких отношениях с Верженом. Он умер, как известно, на эшафоте 8 мая 1794 года. Его вдова, вышедшая вторично замуж за Румфорда (ученого или, по крайней мере, практика, связанного с наукой, изобретателя каминов, по системе прусских, и термометра, носящего его имя), сохранила самое теплое отношение к госпоже Вержен и ее детям. Этот вторичный брак не был счастливым, и общественные симпатии совершенно справедливо оставались на стороне жены. Ей пришлось прибегнуть к власти, чтобы избавиться от тирании и требований, по меньшей мере невыносимых. Румфорд был иностранцем, и полиция могла собрать о нем сведения на родине, обратиться к нему со строгими требованиями, даже заставить его покинуть Францию. Кажется, это и было сделано. Талейран и Фуше взяли за это по просьбе моей бабушки. Госпожа Румфорд хотела поблагодарить их, и вот как рассказывает мой отец о результатах этой благодарности.

«Мать моя согласилась устроить для госпожи Румфорд обед и пригласить на него Талейрана и Фуше. Иметь за одним столом обер-камергера и министра полиции не является актом оппозиционным. Но именно эта встреча, вполне естественная, вполне незначительная по своим мотивам, но которая, признаюсь, была необычна и не возобновилась более, была представлена императору в донесениях в Испанию как политическое совещание и доказательство важного соглашения. Я не сочту невозможным, что Талейран и Фуше согласились с особенной поспешностью, которой могло бы и не быть в иное время, что они воспользовались случаем передоверить, что даже мать моя, зная почетное положение этих двух лиц, считала случай подходящим, чтобы устроить свидание, которое ее интересовало и было вместе с тем полезно ее другу. Но у меня нет никаких причин думать именно так. Напротив, я отлично помню слова отца и матери о том, что этот случай – ясный пример того, как иногда получает неограниченное значение незначительный и мимолетный сам по себе факт; они говорили, улыбаясь, что госпожа Румфорд и не подозревала, чего она им стоила.

Они прибавляли, что по этому поводу или с ненавистью, или с насмешкой произносилось слово «триумфировать», и мать моя говорила госпоже Румфорд, смеясь: «Друг мой, мне очень

жаль, но ваша роль не могла быть иной, чем Лепида³». Отец мой говорил также, что некоторые придворные, не относящиеся к нему дурно, говорили ему об этом как о факте положительном и без враждебного чувства: «Ну, наконец, теперь, когда все это в прошлом, скажите, что это было и что вы затевали?»».

Этот рассказ является примером придворных сплетен и показывает близость моих деда и бабушки с Талейраном. Хотя бывший епископ Отёна, по-видимому, не вносил в эту близость характера заинтересованности, которая была ему обыкновенно свойственна по отношению к женщинам, но ему очень нравилась та, мемуары которой я печатаю, он даже восхищался ей. Я нахожу довольно пикантное доказательство этому в характеристике, которую он набросал на официальной бумаге Сената, бездельничая во время одного из заседаний, когда происходил подсчет голосов (вероятно, в 1811 году).

«Люксембург, 22 апреля.

Мне хочется начать портрет Клари. Клари – не то, что называют обыкновенно красавицей, но все согласны, что она женщина привлекательная. Ей двадцать девять или двадцать восемь лет; она именно такова, какой можно быть в двадцать восемь. Ее фигура хороша, походка проста и грациозна. Клари не худощава, она лишь настолько слаба, насколько это нужно, чтобы быть изящной. Цвет лица ее не ослепителен, но у нее особенная способность казаться тем блее, чем лучше она освещена. Может быть, это полное изображение всей Клари, которая кажется тем лучше и милее, чем лучше ее знаешь.

У Клари большие черные глаза; длинные веки придают ей какое-то соединение нежности и живости, которое чувствуется даже тогда, когда душа ее отдыхает и не желает ничего выражать. Но эти моменты редки. Много мыслей, живое восприятие, подвижное воображение, утонченная чувствительность, постоянное доброжелательство выражаются в ее взгляде. Нужно было бы изобразить душу, которая сама в нем отражается, и тогда Клари была бы самой прекрасной женщиной, какую можно себе представить.

Я недостаточно тверд в правилах рисунка, чтобы утверждать, что черты лица Клари правильны. Мне кажется, что нос ее слишком велик, но я знаю, что у нее прекрасные глаза, прекрасные губы, прекрасные зубы. Ее волосы обыкновенно покрывают значительную часть лба, и это жаль. Две ямочки, которые образуются от ее улыбки, делают ее столь же пикантной, как и нужной. Ее туалет часто недостаточно изыскан, но никогда он не бывает дурного вкуса и всегда очень чист. Эта чистота составляет часть системы порядка или приличия, от которой Клари никогда не отступает.

Клари небогата, но, умеренная во вкусах, стоящая выше фантазии, она презирает расточительность; если она замечала границы своего имущества, то лишь потому, что приходилось урезывать свою благотворительность. Однако, помимо искусства давать, у нее имеются и тысячи способов оказывать одолжения. Всегда готова она поддержать добрые поступки, извинить недостатки, весь ее ум направлен к благотворительности. Никто лучше Клари не может засвидетельствовать, насколько разумная благотворительность выше ума и таланта тех, кто действует только строгостью, критикой и насмешкой. Клари в своей обычной благожелательной манере судить изобретательнее и острее, чем может быть неблагожелательность в искусстве инсинуаций и умолчаний. Клари всегда оправдывает того, кого защищает, не оскорбляя никого, кому возражает. Ум Клари очень обширен и очень развит; я не знаю никого, кто бы лучше умел вести разговор. Когда она хочет казаться образованной, это означает доказательство доверия и дружбы.

³ Лепид, римский политический деятель (около 89–13/12 гг. до н. э.). В 43 году вместе с Октавианом и Антонием образовал Второй триумвират.

Муж Клари знает, что ему принадлежит сокровище, и он умеет им пользоваться. Клари хорошая мать, это награда за ее жизнь...

Сеанс окончен. Продолжение – на выборах будущего года!»

Император с неудовольствием замечал эту близость между камергером и обер-камергером, и из этих мемуаров будет видно, что он не раз старался их разъединить. Довольно долго ему удавалось возбуждать в них недоверие друг к другу. Но близость была полной как раз в момент, когда Талейран впал в немилость. Известно, какие мотивы, почетные для этого последнего, вызвали между ним и его господином бурную сцену в январе 1809 года⁴, во время Испанской войны, которая стала началом бедствий для Империи и результатом ошибок императора. Талейран и Фуше выразили или, по крайней мере, дали почувствовать неодобрение и недоверие общества. «Во всей империи, – сказал Тьер, – ненависть начинала заменять любовь»⁵. Эта перемена происходила в умах чиновников так же, как и в умах граждан.

Впрочем, член Законодательного корпуса Монтескье, который получил после Талейрана его место при дворе, был лицом менее значительным; но Талейран оставил первому камергеру все, что было в его обязанностях тяжелого, но и приятного и почетного. Для Вержена было, конечно, ударом потерять начальника, большое значение которого отражалось и на подчиненных.

В самом деле, это было странное время! Тот же Талейран, впавший в немилость как министр и носитель видной придворной должности, не потерял, однако, доверия императора. Наполеон внезапно призывал его к себе, искренно сообщая ему тайну вопроса или обстоятельства, по поводу которых желал получить его совет. Эти совещания возобновлялись до самого конца, даже в те времена, когда он поговаривал о том, чтобы отправить Талейрана в Венсенн. В оплату за это Талейран, входя в его интересы, давал ему самые доброжелательные советы, и все происходило так, как будто между ними ничего не случилось.

Политика и величие положения давали Талейрану привилегии и утешение, которых не могли иметь ни камергер, ни придворная дама. Связывая свою судьбу так тесно с абсолютной властью, обыкновенно не предвидят, что наступит день, когда чувства вступят в борьбу с интересами, обязательства – с обязанностями. Забывают, что существуют принципы управления, которые должны опираться на конституционные гарантии; уступают естественному желанию быть чем-то в государстве, служить установившейся власти; тогда не вглядываются в природу или условия этой власти. Но наступает момент, когда, не требуя ничего нового, эта абсолютная власть доходит до такого сумасбродства, жестокости и несправедливости, что ей трудно служить даже в самых невинных видах, а между тем ей необходимо повиноваться, сохраняя в душе негодование, страдание, а вскоре, быть может, и желание ее падения.

Скажут, что существует очень простой выход: выйти в отставку. Но тогда является опасность удивить, скандализировать, быть непонятым или осужденным общественным мнением. Притом, никакая солидарность не связывает служителя государства с поведением главы государства. Так как не имеешь прав, то кажется, будто нет и обязанностей. Ничему нельзя помешать, поэтому кажется, что и нечего искупать. Так думали в правление Людовика XIV и так думают в большей части Европы; так думали при Наполеоне, так, может быть, будут опять думать... Стыд и позор абсолютной власти! Она уничтожает истинные сомнения и истинные обязанности у людей честных.

⁴ Речь идет о знаменитой сцене во дворце, 28 января 1809 года, когда император в буквальном смысле слова с кулаками набросился на Талейрана, обвиняя его в лицемерии и предательстве.

⁵ Тьер А. «История Консульства и Империи».

IV

В переписке господина и госпожи Ремюза можно найти, по крайней мере в зародыше, часть этих чувств, и все способствовало тому, чтобы их глаза открылись. Личные встречи с императором становились все более и более редкими, и его очарование, еще могущественное, все меньше и меньше ослабляло впечатление от его политики. Развод императора также возвратил госпоже Ремюза известную долю свободы, как во времени, так и в суждениях. Она последовала за императрицей Жозефиной по ее удалению, а это не могло повысить ее влияние при дворе. Муж ее также вскоре покинул одну из своих обязанностей, а именно – придворного, заведующего дворцовым гардеробом. И холодность увеличилась. Я употребляю слово «холодность», так как в пасквилях, написанных против моего отца, утверждали, что его семья была серьезно замешана в каких-то дурных поступках, которыми император был очень раздражен. Ничего подобного не было, и лучшим доказательством этого служит то, что, перестав быть заведующим гардеробом, Ремюза остался камергером и начальником театров. Он покинул только самую незначительную и самую связывающую из своих должностей. Конечно, правда, что он терял таким образом доверие и близость, которые возникают при совместной жизни. Но и выигрывал тем, что становился свободнее, мог больше жить в обществе и в семье, и эта новая жизнь, менее замкнутая, чем в салонах Тюильри и Сен-Клу, дала мужу и жене больше независимости и беспристрастия в суждениях о политике их властелина. Им было легче, с помощью советов и предсказаний Талейрана, предвидеть падение Империи и избрать сознательно разрешение проблемы, поставленной событиями.

Нельзя было надеяться на то, что император удовлетворится миром, более унижительным для него, чем для Франции. Европа не была склонна оказать ему милость даже подобного унижения. Поэтому, естественно, помышляли о Бурбонах, несмотря на неудобства, в которых давали себе неясный отчет. Салоны Парижа были не роялистскими, но антиреволюционными. В то время еще не приходило в голову сделать Бонапартов главами консервативной и католической партий.

Конечно, надо было принять важное решение, чтобы возвратиться к Бурбонам, и к этому пришли не без отчаяния, беспокойств и всевозможных волнений. Отец мой сохранил тяжелое воспоминание о том зрелище, какое представляла в 1814 году его семья, в сущности, такая скромная, такая честная, такая простая; это впечатление он считал самым большим политическим уроком, и этот урок, так же, как и его собственные рассуждения, склонили его к простым положениям и к убеждениям, основанным на праве.

Вот, впрочем, как он сам описал чувства, какие видел вокруг себя во времена падения Империи:

«Чистая политика привела мою семью к Реставрации. Отец мой, среди других, казался мне в положении человека, подчиняющегося необходимости и добровольно принимающего все ее последствия. Было бы наивностью стремиться уничтожить эти последствия или совершенно их избежать; но можно было лучше бороться с ними или постараться их больше ослабить. Мать моя, немного более доступная сентиментализму по отношению к Бурбонам, больше давала увлечь себя современному течению.

Во всяком крупном политическом движении есть что-то увлекающее, что направляет симпатии, за исключением тех случаев, когда от этого предохраняет партийная вражда. Эта бескорыстная симпатия, соединенная с любовью к аффектации, составляет значительную долю тех пошлостей, которые бесчестят все перемены правительств. Но эта же симпатия, однако, с самого начала боролась у моей матери со зрелищем преувеличений в чувствах, взглядах и словах... Эта унижительная сторона Реставрации, как и всякой реставрации, особенно неприятно меня поражает. Но если бы роялисты не злоупотребляли этим, им бы многое простили.

Удивительно, что в этом отношении переносили очень честные люди. Я знаю, что отец мой с первых дней довольно живо возражал одной особе, которая в нашем салоне отстаивала со всей резкостью чистую доктрину легитимизма. Однако приходилось принимать эту теорию, хотя в более политической форме. Само слово «легитимизм» утвердилось особенно, кажется, благодаря Талейрану⁶, а отсюда развернулась неизбежная вереница последствий».

Со стороны моего отца это было не только историческое воззрение; с этих пор он начал, как ни был молод, думать самостоятельно и направлять, или по крайней мере освещать, взгляды своих родителей.

В этом коротком рассказе я не коснулся одной характерной и трогательной черты той, жизнь которой я описываю. Она была удивительной матерью, заботливой и нежной. Ее сын Шарль, родившийся 14 марта 1797 года, по-видимому, с самых первых дней подавал надежды (которые и оправдал) и внушал ей свои собственные вкусы, по мере того как становился старше и умнее. У нее был второй сын – Альберт, родившийся пять лет спустя и умерший в 1830 году, развитие и способности которого вскоре остановились. Он до конца оставался ребенком. Она относилась к нему с жалостью и постоянной заботливостью, которым приходится удивляться, даже у матери. Но истинная страсть была направлена на старшего, и нельзя представить себе, чтобы сыновья или материнская привязанность была бы основана на большей аналогии между свойствами ума и способностью чувствовать. Ее письма полны выражения самой тонкой и самой разумной нежности.

Не лишним будет привести одно из писем, написанных ею сыну, которому было тогда шестнадцать лет.

Мне кажется, оно должно вызвать самое благоприятное отношение к ним обоим.

«Виши, 15 июля 1813 года.

Я страдала несколько дней от сильной болезни горла и очень скучала, дитя мое. Сегодня мне немного лучше, и мне хочется развлечься письмом к тебе. Ты бранишь меня за молчание и к тому же давно хвастаешься своими четырьмя письмами. Я не хочу больше оставаться в долгу перед тобой, и благодаря этому письму когда-нибудь и я смогу побранить тебя, если представится случай.

Дорогой друг мой, я шаг за шагом слежу за твоими занятиями и вижу, что ты очень занят в этом июле месяце, когда я веду такую монотонную жизнь. Я приблизительно знаю, что ты говоришь и делаешь по четвергам и воскресеньям.

Госпожа де Грасс рассказывает мне об этих беседах с тобой и очень меня этим развлекает. Например, она рассказала мне, что в прошлый раз ты говорил ей обо мне много хорошего и что, когда мы беседуем с тобой, ты порой склонен приписывать мне слишком много ума. Но, право, это опасение не должно тебя останавливать, так как у тебя, дитя мое, несомненно, не меньше ума, чем у меня. Я говорю это откровенно, потому что это преимущество обыкновенно нуждается в том, чтобы иметь опору во многом другом, и, говоря тебе это, я скорее тебя предостерегаю, чем хвалю. Если наш разговор с тобой бывает несколько серьезным, то припиши это моим обязанностям матери, которые я еще доканчиваю по отношению к тебе, и некоторым счастливым мыслям, которые я, как мне кажется, нахожу в своем уме и которые хотелось бы передать тебе. Когда мне покажется, что я дошла до момента прекращения всяких предупреждений, тогда мы будем лучше говорить друг с другом для собственного удовольствия, обмениваясь мыслями и замечаниями о тех и других, и все это откровенно, не боясь поспорить, в условиях самой полной, искренней и взаимной дружбы. Я представляю себе,

⁶ Легитимизм – политическая теория, выдвинутая Талейраном на Венском конгрессе в целях обоснования и защиты территориальных интересов Франции, которые состояли в сохранении границ, существовавших на 1 января 1792 года. По заявлению Талейрана, основной потребностью Европы было изгнание навсегда мысли о возможности приобретения прав одним завоеванием и восстановление священного принципа легитимности.

что такая дружба прекрасно может существовать между матерью и сыном. Между нами нет той разницы лет, которая мешала бы мне понимать твою молодость и разделять некоторые из твоих впечатлений. Головы женщин долго остаются молодыми, а в голове матери всегда найдется уголок, имеющий как будто возраст ее ребенка.

Госпожа де Грасс говорила мне также, что у тебя явилось желание во время этих каникул записывать свои впечатления по многим вопросам. Я нахожу, что ты прав; приятно будет перечесть это через несколько лет. Отец твой скажет, что я делаю тебя писакой, какой являюсь сама, так как он не стесняется в выражениях, но это мне безразлично. Мне кажется, что нет дурного в том, чтобы привыкнуть направлять свои мысли, писать исключительно для себя, и что вкус и стиль развиваются именно таким образом. Отец твой не что иное, как проклятый ленивец, который может написать только одно письмо в неделю... правда, оно очень мило, но это же мало... недостаточно! Пусть он не заставляет меня говорить.

В моем уединении у меня явилась фантазия написать твою характеристику, и, если бы у меня не болело горло, я бы попробовала. Но, чтобы не быть напыщенной и быть правдивой, я должна была бы указать некоторые твои недостатки; однако то, что я должна была сказать о тебе, стало душить меня, и это, вероятно, стало причиной жабы, так как я никак не могла извлечь эти слова наружу. В ожидании этой характеристики, разбивая тебя по всем пунктам, я нашла у тебя некоторые качества вполне развившиеся, иные – начинающие развиваться и затем – некоторые засорения, которые мешают иному хорошему свободно проявляться. Я извиняюсь за то, что пользуюсь этим медицинским стилем, но это потому, что я живу в стране, где только и говорят о засорениях и способах их излечить.

Я разовью все это перед тобой, когда буду в ударе, сегодня же ограничусь немногими пунктами. Вот что я вижу в тебе по отношению к другим. У тебя много вежливости, даже больше, чем обыкновенно бывает в твоём возрасте, много приветливости в обращении, в манерах, в способе слушать. Сохрани это. Госпожа де Севинье⁷ говорит, что одобрительное молчание всегда доказывает в юности много ума.

«Но, мама, куда же вы направляетесь? Вы обещали недостатки, а до сих пор я не вижу ничего подобного. Отец торопит тут же, рядом. Ну же, мама, к делу!» Сейчас, сын мой, я начинаю: ты забываешь, что у меня болит горло и я могу говорить только медленно. Наконец, ты вежлив. Если тебя приглашают воспользоваться случаем сделать приятное тем, кого ты любишь, ты охотно соглашаешься. Если тебе указывают этот случай, некоторая лень, некоторое самолюбие заставляют тебя немного поколебаться, и в конце концов ты сам не ищешь этого случая, потому что боишься поставить себя в неловкое положение. Понимаешь ли ты немного эти тонкости? Пока ты немного под моим влиянием, я тебя направлю, я с тобой говорю; но вскоре тебе придется говорить самому, и я хотела бы, чтобы ты говорил хоть немного о других, несмотря на то, что вы много шумите благодаря вашей молодости, которая действительно имеет право покричать немного погромче. Не знаю, ясно ли то, что я тебе говорю? Так как мои мысли проходят сквозь головную боль, сквозь три компресса, которыми я окружена, и так как я не изошряла своего ума с Альбертом в течение четырех дней, то, возможно, в моих беседах есть некоторая странность. Ты разберешься, как сумеешь. Факт, что ты очень вежлив по внешности; я бы желала, чтобы ты был вежлив и внутренне, т. е. доброжелателен. Доброжелательность есть вежливость сердца. Но довольно об этом...

Твой маленький брат хорошо выступает на балу. Он становится здесь совсем деревенским жителем. Удит утром, гуляет, лучше тебя знает деревья и различные культуры, а вечером танцует с толстыми пастушками Оверни, строя им милые гримаски, которые ты знаешь.

⁷ Мари де Рабютэн-Шанталь, баронесса де Севинье (1626–1696) – французская писательница, автор знаменитых «Писем».

До свидания, дорогое дитя мое; я расстаюсь с тобой, так как кончается моя бумага, потому что я занималась всеми этими пустяками, которые отвлекают меня несколько от скуки; но не следует убивать тебя, давая тебе их слишком много сразу».

Вот в таком тоне доверия, нежности и симпатии писали друг другу мать и сын, еще очень юный. Год спустя, в 1814 году, он окончил колледж и исполнил то, что обещал его юный возраст; тогда он занял, конечно, большее место в жизни и занятиях своих родителей. Даже его взгляды начали оказывать все большее и большее влияние на их воззрения, и это тем легче, что их не разделяло ничто абсолютное.

Он был только положительнее и смелее их, и его меньше связывали воспоминания и привязанности. Он не жалел об императоре и, хотя его трогали страдания французской армии, наблюдал падение Империи если не с радостью, то с безразличием. Это было для него, как и для других выдающихся молодых людей его поколения, освобождением.

Отец с жадностью схватывал первые идеи конституционного режима, который появился вместе с Бурбонами. Но салонные роялисты поражали его своей смешной стороной; многие вещи и иные слова, которые пользовались уважением, казались ему вздором; оскорбления по адресу императора и представителей Империи возмущали его; но ни он, ни его родители, несколько недоверчивые к новому режиму, не относились с систематическим недоброжелательством ко всему, что происходило. Бедствия или по крайней мере неприятности личного характера, которые следовали за этим, не мешали им чувствовать себя освобожденными. А это были: потеря должностей, необходимость продать, и притом очень неудачно, библиотеку, которая составляла радость моего дедушки и даже обратила на себя внимание любителей, и множество других неприятностей.

Они были готовы оправдать знаменитые слова императора. Он, в эпоху наибольшего могущества, спросил у лиц, его окружавших, что скажут о нем после его смерти. Каждый спешил сказать какой-нибудь комплимент, что-нибудь льстивое. Он прервал их, говоря: «Как, вы сомневаетесь в том, что скажут? Скажут: уф!»

V

Было трудно думать о личных интересах и не быть увлеченным зрелищем, которое представляли собой Франция и Европа. Именно такой интерес должен был преобладать над честолюбием в нашей семье, как я ее себе представляю. Однако дед мой думал о том, чтобы получить место в администрации и снова вернуться к своим проектам, по-прежнему обманчивым, о Государственном совете; но он относился к этому все так же небрежно или равнодушно. Если бы он вошел в состав совета, то стал бы только копией большинства прежних чиновников Империи, так как бонапартистская оппозиция появилась только к концу периода. Даже члены императорской семьи сохранили постоянные и дружеские отношения с представителями нового режима, или, скорее, с реставрированным старым режимом. С императрицей Жозефиной обращались с уважением, а император Александр часто посещал ее в Мальмезоне. Ей хотелось создать себе достойное и приличное положение, и она открыла своей придворной даме, что хотела просить для Евгения титул коннетабля – что значило плохо понимать дух Реставрации. Королева Гортензия, которая позднее должна была сделаться заклятым врагом Бурбонов, получила герцогство Сен-Лё, за что хотела благодарить короля Людовика XVIII. Но императрица Жозефина была внезапно унесена гангренозным воспалением горла, и последняя связь, которая существовала между моей семьей и Бонапартами, была навсегда порвана.

Бурбоны как будто поставили своей задачей раздражать и обескураживать тех, кого должно было привлечь к себе их правительство, и мало-помалу устанавливалось мнение, что их царствование будет непродолжительно и Франция, тогда более страстно относившаяся к равенству, чем к свободе, захочет снова нести то иго, которое считалось свергнутым, и снова

вернутся дни блеска и бедствий. Поэтому далеко не с тем удивлением, какое можно предположить, мой дедушка возвратился однажды домой, сообщая, что император, убежав с острова Эльба, высадился в Каннах. Исторические события обыкновенно больше удивляют тех, кто о них слышит, чем очевидцев.

Кажется, что какое-то предчувствие присоединяется ко всем логическим выводам. Те особенно, кто видел вблизи этого великого человека, должны были считать его способным явиться, чтобы подвергнуть, вследствие эгоистической и грандиозной фантазии, новой опасности Францию и французов. Но это было великое предприятие, которое принуждало каждого думать не только о политическом будущем, но и о личном. Даже те, кто, подобно Ремюза, не выражали никаким публичным способом своих чувств и желали только покоя и неизвестности, могли всего бояться и должны были все предвидеть. Неизвестность продлилась недолго, и, прежде чем император вступил в Париж, Реаль объявил Ремюза, что его ссылают вместе с двенадцатью или пятнадцатью другими лицами, в числе которых был Паскье⁸.

Событие более важное, чем ссылка, которое оставило в памяти моего отца более глубокий след, произошло между сообщением о высадке Наполеона и его приездом в Тюильри. На другой же день после того, как об этой высадке стало известно, госпожа де Нансути прибежала к своей сестре Кларе, испуганная и взволнованная рассказами о преследованиях, которым будут подвергнуты враги императора, мстительного и всемогущего. Она сказала, что полицией будут применены инквизиционные методы, что Паскье беспокоится и что следует освободиться от всего подозрительного в доме.

Бабушка моя, которая, может быть, сама бы об этом не подумала, разволновалась, вспомнив, что у нее найдут рукопись, которая может скомпрометировать ее мужа, сестру, зятя, друзей. Она писала в полной тайне в течение многих лет, почти со времени своего появления при дворе, мемуары, писала ежедневно, под впечатлением событий и разговоров. Она рассказывала в них почти все, что видела и слышала в Париже, в Сен-Клу, в Мальмезоне. В течение двенадцати лет у нее образовалась привычка писать дневник, где главную роль играли черты ее собственного ума и характера, вперемежку с событиями. Дневник состоял из ряда писем, написанных из дворца подруге, от которой ничего не скрывалось. Автор сознавала всю ценность этой работы, или, вернее, эти фиктивные письма напоминали ей всю ее жизнь, все самые дорогие и самые тяжелые воспоминания. Но как можно было рисковать ради того, что могло показаться только проявлением литературного или сентиментального самолюбия, спокойствием, свободой, даже, может быть, жизнью всех своих близких?

Никто не знал о существовании этой рукописи, за исключением ее мужа и госпожи Шерон, жены префекта, очень старинного и верного друга. Клара побежала к ней. К несчастью, госпожи Шерон не было дома, и она должна была вернуться не скоро. Что делать? Бабушка возвратилась совершенно расстроенная и без размышлений и промедлений бросила в огонь все эти тетради. Отец мой вошел в комнату в то время, когда она сжигала последние листы – с некоторым промедлением, чтобы пламя не было слишком сильно. Ему было тогда семнадцать лет, и он позднее часто описывал мне эту сцену, воспоминание о которой ему было очень тяжело. Сначала он подумал, что это только копия мемуаров, которых он не читал, а драгоценный оригинал где-нибудь спрятан. Он сам бросил последнюю тетрадь в огонь, не придавая этому большого значения. «Едва ли какой-нибудь жест, – говорил он мне, – когда я узнал истину, оставил более жестокое сожаление в моей душе».

⁸ Этьен Дени Паскье, барон (1767–1862) – префект полиции во времена Империи, несколько раз министр (юстиции, иностранных дел) во времена Реставрации. «Его семья, его воспитание, его прошлые воззрения – всего этого было достаточно для того, чтобы человек, более склонный к подозрительности, чем Наполеон, не доверял ему» (из воспоминаний графа Лас-Каза).

Эти сожаления с первых же минут были так сильны у матери и у сына, тотчас же понявших, что эта ужасная жертва была напрасна, что они никогда не могли говорить об этом даже друг с другом, а тем более сказать моему дедушке.

Дедушка весьма философски принял свою ссылку, которая не запрещала ему пребывания во Франции, но только не в Париже и его окрестностях. Он решил, что все они переедут в Лангедок, чтобы там переждать бурю. У него было там имение, выкупленное им у наследников Батара, деда его жены, но управление имением было давно заброшено. Поэтому они поехали в Лафит, где отец мой позднее должен был прожить столько месяцев, столько лет, порой среди политических волнений, порой возвращаясь к тихой трудовой жизни, порой отдыхая там после нового изгнания, так как зло, причиняемое абсолютной властью, не ограничилось 1815 годом, и Наполеоны возвратились во Францию из более далеких стран, чем остров Эльба.

Дед мой 13 марта отправился в Лафит, где семья присоединилась к нему несколько дней спустя. Здесь-то и оставались они все три месяца правления, более короткого, но еще более пагубного, чем прежде, – которое носило название Ста дней. Здесь-то отец мой начал свою карьеру писателя, не создавая еще ничего оригинального, но переводя Попа, Цицерона и Тацита. Единственными оригинальными произведениями были его песни.

Все они жили там спокойно, дружно, почти счастливые, ожидая конца этой трагедии, завершение которой предвидели; весть о битве при Ватерлоо застала их там. Вместе с известием об отречении Наполеона они узнали, что Ремюза назначен префектом в Верхней Гаронне ордонансом (королевским приказом. – *Прим. ред.*) от 12 июля 1815 года. Это назначение как нельзя более подходило мужу, возвращая его к деятельности, которую он любил, и не принуждая к придворным торжествам, но гораздо менее нравилось жене, которая жалела о Париже и своих друзьях, а также боялась волнений в Тулузе, ставшей добычей южного роялизма, «белого террора», как тогда говорили. Новый префект тотчас же отправился туда, узнал по приезду об убийстве генерала Рамеля, который, однако, водрузил белое знамя на Капитолии. Так велика несправедливость и жестокость партий, даже торжествующих, особенно торжествующих!

Однако как ни интересен этот эпизод наших гражданских бурь, нет необходимости на нем останавливаться. Здесь речь идет не о префекте, но именно о госпоже Ремюза. Несколько обеспокоенная событиями, а может быть, боясь резкости мнений сына, мало соответствующих официальному положению, госпожа Ремюза позволила ему возвратиться в Париж, что очень ему подходило. Тогда между матерью и сыном и завязалась переписка, которая лучше с ними познакомит и позволит больше узнать относительно личности автора этих мемуаров, чем сами эти мемуары.

Но здесь речь идет только об этом последнем труде, и нет необходимости подробно рассказывать о месяцах, даже о годах, следующих за 1815 годом. Назначенная в кровавые дни администрация департамента была в течение девятнадцати месяцев в очень трудном положении. В то время как в Париже сын, живя среди очень либерального общества, дошел до передового конституционного роялизма, который был уже только терпим по отношению к Бурбонам, отец получил от совершенно другого общества подобное же влияние и благодаря своим предложениям и поступкам, встал в первый ряд чиновников, настроенных наименее роялистично, наиболее либерально. Он был умерен, друг законов, справедлив, не фразер, не аристократ, не ханжа. Город Тулуза был до известной степени противоположностью всему этому, однако Ремюза удалось оставить там по себе добрые воспоминания.

Любопытны эти первые времена конституционной свободы даже в провинции, мало предназначенной к тому, чтобы смело осуществить ее теории. При свете этой свободы освещалось то, что Империя оставила в тени. Все возрождалось: мнения, чувства, недовольства, страсти, наконец, сама жизнь. Правительство Бурбонов было представлено женатым священником Талейраном и царубийцей, якобинцем Фуше, но этого было еще недостаточно, чтобы противодействовать реакционной партии тех времен, а потому либеральная политика стала

торжествовать только с правлением Деказа, Паскье, Моле и Ройе-Коллара и со времени знаменитого ордонанса 5 сентября⁹. Эта политика естественным образом должна была принести пользу тем, кто ее заранее держался, и во время поражения либеральной партии на выборах в Верхней Гаронне к префекту отнеслись хорошо. Как только министерство утвердилось и Лэне заместил Воблана, дед мой был назначен префектом Лилля, и вот как отец в уже упомянутом письме передает впечатления, какие произвели эти события на взгляды моей бабушки:

«Назначение моего отца в Лилль снова ввело мою мать в среду бурных движений общественного мнения, движений, которые вскоре должны были выразиться так сильно, как этого не случилось, быть может, с 1789 года. Ее ум, ее мысль, все ее чувства и верования должны были двинуться вперед. Империя, которая сначала возбудила в ней интерес и сознательность, как всякое великое событие в нашем мире, позднее дала ей принципы движения к чисто моральной цели, внушая отвращение к тирании. Отсюда – смутное стремление к правильному правительству, основанному на законе, на разуме и национальном духе, отсюда – известное признание форм английской конституции. Ее пребывание в Тулузе и реакция 1815 года дали ей знакомство с реальными условиями жизни, которого никогда не достигнешь в парижских салонах, сознание результатов и даже причин революции, понимание нужд, чувства нации. Она поняла в общей форме, в чем была опора, сила, жизнь, право. Она знала о существовании новой Франции и о том, какова она».

VI

Пребывание в Лилле было прервано несколькими путешествиями в Париж, где бабушка моя нашла сына среди светских удовольствий, которые предшествовали его литературным успехам, начавшимся несколько месяцев спустя. Впрочем, ему приходилось уже писать и сочинять в письмах к матери, посвященных литературе и политике. Мать его имела больше досуга в Лилле, чем в Париже, и, хотя здоровье ее было всегда слабо, у нее снова появилась охота к умственному труду. До сих пор она ничего не писала, кроме своих сожженных мемуаров, и только иногда пробовала набросать короткие новеллы или маленькие статьи. Она начала, на досуге провинциальной жизни, роман в письмах под названием «Испанские письма, или Честолюбец». В то время как бабушка работала над романом с охотой и успехом, в 1818 году вышли в свет «Размышления о французской революции», посмертный труд госпожи де Сталь; он произвел на госпожу Ремюза самое сильное впечатление. Теперь, через шестьдесят лет, плохо отдают себе отчет в том необыкновенном впечатлении, какое мог произвести такой труд – красноречивое рассуждение о принципах революции.

Взгляды автора, в то время очень новые, теперь для нас представляют только прекрасные и благородные общие места, справедливость которых повсюду признана. Но не так было тотчас же после Империи. Все тогда было ново, и дети, смущенные двадцатилетней тиранией, должны были узнать то, что так хорошо знали их отцы в 1789 году. Что особенно поразило мою бабушку, это пылкие страницы, где автор отдается своей несколько демонстративной ненависти к Наполеону. Она сама испытывала похожие чувства, но так и не могла забыть, что думала раньше несколько иначе.

Люди, любящие писать, естественно искушаемы желанием объяснить на бумаге свои поступки и свои чувства. Это способ лучше их понять. Ей захотелось восстановить свои воспоминания, изложить, что представляла из себя Империя, как она любила ее и восхищалась ею, потом осуждала и боялась ее, потом подозревала и ненавидела, и, наконец, покинула.

Мемуары, которые госпожа Ремюза уничтожила в 1815 году, могли служить самым бесыскусственным и точным изложением этой смены событий, положений и чувств. Нечего было

⁹ 5 сентября 1816 года по настоянию министра полиции графа Деказа была распущена ультрароялистская палата депутатов.

и думать воспроизвести их, но можно было создать новые, которым верная память и чистая совесть придали бы такую же искренность. Воодушевленная этим проектом, она написала сыну 27 мая 1818 года:

«Вчера я была охвачена новой причудой. Ты узнаешь теперь, что я встаю ежедневно в шесть часов и пишу с этого времени очень аккуратно до девяти часов с половиной. Итак, я сидела за своими трудами, с тетрадами «Честолюбца», разбросанными вокруг меня. Но несколько глав госпожи де Сталь пронизали мой ум. И вдруг я бросаю роман в сторону, беру белую бумагу, я охвачена потребностью говорить о Бонапарте; вот я рассказываю об убийстве герцога Энгиенского, о той ужасной неделе, которую я провела в Мальмезоне. Так как я человек, живущий чувством, через несколько строк мне кажется, будто я опять переживаю это время. Факты и разговоры как бы сами собой встают передо мной; я написала двадцать страниц со вчерашнего дня, и это меня сильно взволновало».

Та же причина, которая пробудила впечатления матери, возбудила литературные вкусы и воззрения сына, и в то время как он печатал в «Архивах» свою первую статью о книге госпожи де Сталь, 27 мая 1818 года он написал своей матери письмо. Письма, как говорят, встретились в пути.

«Эта книга, мама, разбудила во мне очень сильное сожаление, что вы сожгли мемуары, но я сказал себе, что их нужно заменить. Вы обязаны сделать это ради вас, ради нас, ради истины. Перечтите прежние альманахи, «Монитор», страницу за страницей, перечтите и просите свои прежние письма, написанные друзьям, особенно моему отцу. Старайтесь найти не подробности событий, но главным образом свои впечатления по поводу событий. Возвратитесь к мнениям, которых уж нет, к иллюзиям, которые потеряны, даже к ошибкам. Покажите себя, как многие уважаемые и разумные люди, негодующей и возмущенной ужасами революции, увлеченной естественной, но мало продуманной ненавистью, энтузиазмом, в сущности очень патриотическим, по отношению к одному человеку. Скажите, что мы все в то время сделали как бы чужды политике. Мы несколько не боялись власти одного, мы шли ей навстречу.

Покажите затем человека того времени, который портился (или обнаруживал себя) по мере того, как росло его могущество. Покажите, по какой печальной необходимости, теряя свои иллюзии на его счет, вы становились все в большую и большую от него зависимость, и как, чем меньше вы ему повиновались сердцем, тем больше надо было повиноваться фактически. Как, наконец, после того как вы верили в справедливость его политики, потому что ошибались относительно его личности, разочаровавшись в его характере, вы начали разочаровываться и в его системе. И нравственное негодование привело вас к тому, что я называю политической ненавистью. Вот что я умоляю вас сделать, мама. Вы услышите мою просьбу, не правда ли? И вы сделаете это?»

Два дня спустя, 30 мая, моя бабушка отвечала сыну:

«Не поражен ли ты тем, как мы понимаем друг друга? Я также читаю эту книгу, я поражена так же, как и ты; я жалею об этих несчастных и начинаю писать, не зная хорошенько, куда это меня ведет, так как, дитя мое, это в самом деле несколько трудная задача – та, которая меня искушает и которую ты мне предписываешь. Я хочу, однако, постараться восстановить известные эпохи, сначала без всякого порядка и очереди, события, как они вспомнятся. Ты можешь довериться мне, говоря по правде.

Вчера я была одна перед моим письменным столом. Искала в своих воспоминаниях первые моменты моего появления вблизи этого несчастного человека. Снова переживала массу вещей, и то, что ты так хорошо называешь моей политической ненавистью, было готово исчезнуть, чтобы уступить место моим прежним иллюзиям».

Несколько дней спустя, 8 июня 1818 года, она настаивает на трудности своей задачи:

«Знаешь ли ты, что я нуждаюсь во всей своей храбрости, чтобы исполнить то, что ты мне предписываешь? Я немного напоминаю особу, которая провела бы десять лет на каторге и у

которой спросили бы дневник с записями об этом времени. Теперь мое воображение тускнеет, когда возвращается к этим воспоминаниям. Я испытываю что-то тяжелое от моих прошлых иллюзий и настоящих чувств. Ты прав, говоря, что у меня прямая душа, но отсюда следует, что я не могу безнаказанно чувствовать, как многие другие, и уверяю тебя, в течение недели я ухожу совершенно удрученная от письменного стола, куда ты и госпожа де Сталь засадили меня. Я не могла бы сказать никому другому, кроме тебя, о моих тайных впечатлениях. Меня бы не поняли и посмеялись бы надо мной».

Наконец, 28 сентября и 8 октября того же года она писала сыну:

«Если бы я была мужчиной, то, вероятно, отдала бы часть своей жизни, чтобы изучать Лигу, но так как я только женщина, я ограничиваюсь тем, что набрасываю замечания о том, кого ты знаешь. Какой человек! Какой человек, сын мой! Он ужасает меня, как только я начинаю писать. Для меня было несчастьем, что я была слишком молода, когда жила подле него. Я недостаточно думала о том, что было вокруг меня, а теперь, когда мы двинулись вперед – и я, и мое время, – мои воспоминания волнуют меня больше, чем это делали события.

Если ты приедешь, то увидишь, как мне кажется, что я не теряла времени в это лето. Я написала уже около пятисот страниц и напишу гораздо больше; работа увеличивается по мере того, как я за нее берусь. Потребуется впоследствии много времени и терпения, чтобы привести все это в порядок, а у меня, быть может, никогда не будет ни того ни другого. Это будет твое дело, когда меня не будет больше на этом свете...»

«Отец твой, – писала она еще, – говорит, что не знает никого, кому бы я могла показать то, что написала. Он думает, что нет никого, у кого был бы больше развит талант быть правдивым, это его выражение. Кроме того, я пишу не для кого-то неизвестного. Когда-нибудь ты найдешь эту рукопись в моем бюро и сделаешь с ней, что захочешь».

«Но знаешь ли ты мысль, которая иногда преследует меня? Я говорю себе: «Если бы когда-нибудь сын мой издал это, что бы обо мне подумали?» Мной овладевает беспокойство, что меня сочтут дурной или по крайней мере недоброжелательной. Я старалась найти случаи хвалить. Но этот человек был таким убийцей добродетели, а мы, мы были так принижены, что очень часто отчаяние охватывает мою душу и у меня готов вырваться крик правды».

Из приведенных отрывков видно, под влиянием каких чувств были задуманы и написаны эти мемуары. Это не было ни литературным препровождением времени, ни развлечением для воображения, ни результатом претензий писателя, ни опытом пристрастной апологии. Но страсть к истине, политическое зрелище, которое было перед глазами автора, влияние сына, с каждым днем все более и более укреплявшегося в либеральных взглядах, которые должны были составить очарование и гордость его жизни, дали ей мужество работать над мемуарами более двух лет. Она поняла благородную политику, которая ставит права человека выше прав государства.

Но и это не все. Как бывает с людьми, сильно преданными умственной работе, все оживлялось и освещалось в ее глазах, и никогда она не вела более деятельной жизни. Среди страданий, причиняемых слабым здоровьем, она постоянно ездила из Лилля в Париж, играла роль Эльмиры в «Тартюфе», в замке Шамплатре у графа Моле, занималась работой о женщинах XVII века, которая составила «Опыты о воспитании женщин», давала указания Дюпюитрену для восхваления Корвисара, напечатала даже новеллу.

Несмотря на счастье, какое давали ей спокойная жизнь и деятельный ум, административные успехи мужа и литературные успехи сына, здоровье ее было сильно затронуто сначала болезнью глаз, которая, не угрожая жизни, стала тяжелой и стесняющей, потом общим раздражением, которое отразилось особенно на слизистых оболочках желудка. После нескольких приступов и улучшений сын привез ее в Париж 28 ноября 1821 года очень расстроенную, очень

больную, в состоянии, которое беспокоило тех, кто любил ее, но которое, казалось, не представляло в глазах врачей близкой опасности. Один только Бруссе мрачно смотрел на будущее и поразил моего отца той силой проникновения, которой он был обязан своим открытиям и своим ошибкам. Однако первое время в Париже было употреблено ею на работы по литературе и истории, на политические разговоры, которые собирали вокруг нее большое количество государственных людей. Бабушка могла еще интересоваться падением министерства Деказа и предвидеть, что поражение Виллеля, то есть ультрароялистов, реакционеров, как сказали бы теперь, сделало бы невозможным для ее мужа сохранение префектуры в Лилле. В самом деле, он был отозван 9 января 1822 года. Но, не дожив до этого дня, она умерла внезапно в ночь на 16 декабря 1821 года, сорока одного года.

Сын ее сохранил на всю жизнь глубокую скорбь о ее утрате, а друзья – воспоминание о женщине выдающейся и очень доброй. Никого из них нет теперь в живых, и на наших глазах исчезли последние: Паскье, Моле, Гизо, Леклерк. Присоединяясь к желанию, к воле моего отца, я приношу ей теперь дань наибольшего уважения изданием этих неоконченных мемуаров, которые, за исключением нескольких глав, она не смогла ни просмотреть, ни исправить. Труд этот должен был быть разделен на пять частей, соответствующих пяти эпохам. Она закончила только три из них, которые посвящены периоду от 1802-го до начала 1808 года, то есть со времени ее прибытия ко двору до начала Испанской войны. Части, которых недостает, были бы посвящены времени, которое протекло между этой войной и разводом (1808–1809), и, наконец, пяти последним годам, закончившимся падением императора.

Было бы наивностью не предвидеть, что подобная публикация может навлечь на автора и издателя инсинуации, неблагожелательство или даже политические резкости. Вместо того чтобы интересоваться воззрениями трех поколений, сравнением, которое позволит заметить, какая разница в эпохах, – обратят внимание на видимые противоречия. Удивятся, как можно было быть камергером или придворной дамой – и так мало раболепными, быть либеральными – и так мало возмущенными 18-м брюмера, столь патриотичными – и столь мало бонапартистами, так покоренными гением – и так строго относящимися к его ошибкам, быть столь ясно видящими по отношению к большинству членов императорской фамилии – и столь снисходительными или даже слепыми по отношению к другим, которые, однако, оставили не менее пагубный след в нашей национальной истории. Но трудно будет не отдать автору должной справедливости в его искренности, честности и уме. Невозможно будет, читая эти мемуары, не сделаться более строгим по отношению к абсолютной власти, не перестать быть ослепленным ее софизмами и внешним благополучием.

Поль Ремюза

Вступительные характеристики

Начиная свои мемуары, я считаю нелишним предпослать им некоторые замечания относительно характера императора и отдельных членов его семьи. Мне кажется, что эти замечания помогут мне в той трудной задаче, которую я себе поставила, помогут лучше разобраться во множестве самых разнообразных впечатлений, полученных мной на протяжении двенадцати лет.

Начну с самого Бонапарта. Не всегда я смотрела на него так, как смотрю теперь: мои взгляды изменились вместе с ним. Но я так далека от каких бы то ни было личных обвинений, что мне кажется невозможным отступить от того, чего требует истина.

Наполеон Бонапарт

Бонапарт был маленького роста, непропорционально сложен, так как слишком длинная верхняя часть тела укорачивала рост. Волосы его были редкими, каштанового цвета, глаза – серо-голубыми; цвет лица отдавал желтым, когда Наполеон был очень худ, а с течением времени сделался матово-белым, без всякой окраски. Линия лба и носа, разрез глаз – все это было прекрасно и напоминало античные медали. Рот его, несколько сжатый, становился приятным, когда он улыбался; зубы составляли правильный ряд; немного короткий подбородок и квадратная челюсть придавали тяжеловатость нижней части лица; ноги и руки его были красивы, и я обращаю на это внимание потому, что он сам придавал этому большое значение.

У него была манера держаться всегда несколько устремленным вперед. Глаза, обыкновенно тусклые, придавали лицу его в час покоя меланхолическое, задумчивое выражение; когда он вспыхивал гневом, взгляд его быстро становился суровым и угрожающим. Улыбка необыкновенно шла ему: она молодила и как будто обезоруживала все его существо. Трудно было не поддаться ее очарованию, так она преображала и красила его лицо.

Костюм его всегда был очень прост: обыкновенно Наполеон носил мундир одного из своих гвардейских полков. Соблюдал чистоту, но больше ради системы, чем по личному вкусу; часто принимал ванну, иногда даже ночью, считая это полезным для здоровья. Что касается всего остального, то быстрота, с которой он все совершал, не давала ему возможности много заботиться о костюме; поэтому в дни торжеств и парадов его лакеи должны были сговариваться, чтобы уловить момент и успеть надеть на него какую-нибудь принадлежность костюма. Он не умел носить никаких украшений: малейшее стеснение всегда казалось ему невыносимым. Он срывал и уничтожал все, что причиняло ему хотя бы любое неудобство, а несчастный лакей, причинивший ему эту мимолетную неприятность, порой получал слишком явное и стойкое доказательство его гнева.

Я уже говорила, что было какое-то необыкновенное очарование в улыбке Наполеона, но в течение всего того времени, когда я видела его, он очень редко улыбался. Основным тоном всего его существа была постоянная серьезность, но не та, которая вытекает из благородства и достоинства привычек, а та, которая создается глубоким размышлением.

В молодости он был мечтателем, позднее становится грустным, еще позднее все это переходит в почти постоянное дурное настроение. Когда я познакомилась с ним, он очень любил все то, что располагает к мечтательности: Оссиана, сумерки, меланхолическую музыку. Я слышала, как иногда он восхищался шумом ветра, как с энтузиазмом говорил о рокоте моря, порой впадал в искушение верить в ночные привидения; наконец, у него имелась известная склонность к суеверию. Иногда, покинув свой кабинет, он входил вечером в салон госпожи Бонапарт, обволакивал свечи белым газом, предписывал нам всем глубокое молчание, – и ему нравилось

рассказывать или слушать истории о привидениях. Иногда он слушал музыку – тихие, нежные мелодии, исполняемые итальянскими певцами под аккомпанемент немногих тихо звучащих инструментов.

Тогда он впадал в мечтательное настроение, которое все уважали, не смея сделать движение или сойти с места. Придя в себя после этого состояния, доставляющего ему, по-видимому, какое-то облегчение, он становился веселее и общительнее и любил тогда рассказывать о тех впечатлениях, которые только что пережил. Бонапарт так объяснял влияние, какое оказывала на него музыка, особенно Паизиелло: «Она монотонна, а только те впечатления, которые повторяются, могут овладевать нами». Геометрический склад ума всегда приводил его к анализу всех своих чувств. Бонапарт был человеком, особенно много задумывающимся над тем «почему», которое управляет человеческими поступками.

Вечно настороже, даже в мельчайших событиях своей жизни, открывая всегда самые тайные мотивы для каждого движения, он никогда не понимал и не признавал той естественной беспечности, которая иной раз заставляет действовать без всякого плана и цели. Поэтому, судя о других по себе, он часто ошибался, и его заключения и поступки, за ними следовавшие, нередко доказывали, как он заблуждался.

Бонапарту не доставало воспитания и внешнего лоска; казалось, он был рожден или для жизни в палатке, где все безразлично, или на троне, где все дозволено. Он не умел ни войти, ни выйти из комнаты, не знал, как надо кланяться, вставать или садиться; все его жесты были резки и порывисты, такой же была манера говорить. В его устах даже итальянский язык терял свое изящество. На каком бы он ни говорил языке, последний всегда казался не родным ему; оставалось впечатление, будто он делает усилие, чтобы выразить свою мысль. Притом ему было невыносимо следовать какому бы то ни было правилу; всякая свобода нравилась ему как победа, и никогда ничего не уступал он даже грамматике.

Бонапарт рассказывал, что в юности любил романы, так же, как и точные науки. Быть может, ум его освежался от этого смещения. К несчастью, он попал, по-видимому, на не самые лучшие образцы этого сорта книг, но сохранил такое воспоминание об удовольствии, полученном от них, что, женившись на госпоже Богарне, дал ей читать «Ипполита, графа Дугласа» и «Современниц»¹⁰, «чтобы она составила себе понятие о чувствах и обычаях общества».

Пытаясь начертать образ Бонапарта, надо было бы, следуя столь любимым им приемам анализа, разделить существо на три совершенно различные части: душу, сердце и ум, которые действительно почти никогда у него не сливались.

Хотя он был, безусловно, человеком выдающимся благодаря некоторым чертам своего интеллекта, но трудно представить себе что-нибудь более низменное, чем его душа: никакого великодушия, ни тени истинного величия. Я никогда не видела, чтобы он восхищался благородным поступком, чтобы он даже понял его. Он всегда недоверчиво относился к проявлениям добрых чувств. Не придавал никакой цены искренности и не боялся признавать превосходство человека в зависимости от того, насколько искусно умеет он пользоваться ложью. По этому поводу Бонапарт любил вспоминать, как один из дядей еще в детстве предсказал ему, что он будет когда-нибудь править миром, потому что имеет привычку вечно лгать. «Меттерних, – говаривал он, – может стать государственным человеком: он очень искусно лжет».

Для того чтобы править людьми, Бонапарт всегда пользовался теми средствами, которые принижали их больше всего. Он боялся каких бы то ни было привязанностей, стремился отдалить каждого, дарил свои склонности, возбуждая тревогу, думая, что лучший способ привязать к себе людей – скомпрометировать их, часто даже погубить в общественном мнении.

Он прощал добродетель только тогда, когда мог сделать ее смешной.

¹⁰ «Современницы» – роман, или, вернее, серия маленьких романов или портретов, написанных Ретифом де ла Бретонном. «Граф Дуглас» – роман мадам Д'Онуа.

Нельзя сказать, чтобы Бонапарт истинно любил славу: он, не колеблясь, предпочитал ей успех. Действительно смелый в удаче, доводя ее до крайних пределов, каких мог достигнуть, он бывал робок и смущен, когда над головой его сгущались тучи. Всякое смелое великодушное было совершенно чуждо ему, и по этому поводу нельзя изобразить его без прикрас лучше, чем сделал это он сам в одном признании. Оно сохранилось в рассказе, который я никогда не забуду.

Однажды – дело было после поражения под Лейпцигом, когда, возвратясь в Париж, он был занят объединением остатков своей армии для защиты границ, – Бонапарт рассказывал Талейрану о неудачной войне с Испанией и о затруднениях, в которые вовлекла его эта война. Он любил говорить о своем положении, но не с той благородной откровенностью, которая не боится признаться в ошибке, а с сознанием своего превосходства, которое не допускает затушевывания. Именно в это свидание, среди его излияний, Талейран внезапно сказал:

– Кстати, вы советуетесь со мной так, как будто бы мы не были в ссоре.

Бонапарт ответил:

– На все свое время. Оставим теперь прошедшее и будущее и посмотрим ваше мнение относительно текущего момента.

– Хорошо, – продолжал Талейран, – вам остается одно: надо признать, что вы ошиблись, и сказать это как можно благороднее. Заявите, что вы король волей народной, избранный нациями, и вашей целью никогда не было идти против их желания; скажите, что когда вы начали Испанскую войну, то надеялись только освободить народ от ига ненавистного министра, поощряемого слабостью его монарха. Но, присмотревшись поближе, вы видите, что испанцы, сознавая недостатки короля, привязаны к династии, и вы вернете им династию, чтобы не говорили, что вы противитесь воле народа. После этой прокламации освободите Фердинанда¹¹ и уведите войска. Подобное признание с такой высоты, притом в минуту, когда иностранцы еще колеблются на нашей границе, может только оказать вам честь, и вы еще слишком сильны, чтобы это сочли низостью.

– Низостью? – возразил Бонапарт. – Это все равно; знайте, что я не задумался бы совершить ее, если бы она была мне полезна. Знаете, в сущности, нет ничего благородного или низкого в этом мире. В моей натуре есть все то, что может повести к упрочению власти и к тому, чтобы обманывать тех, кто думает, что знает меня. Откровенно говоря, я низок, совершенно низок; даю вам слово, что у меня не возникнет ни малейшего отвращения совершить то, что называется в свете бесчестным поступком. Мои тайные наклонности – в сущности, природные, но противоречащие показному величию, которым я принужден себя декорировать, – дают мне бесконечные ресурсы, чтобы обманывать надежды всего мира. Поэтому дело только в том, чтобы разобрать, согласуется ли то, что вы мне советуете, с моей настоящей политикой, и поискать, – добавил он с сатанинской, по словам Талейрана, улыбкой, – нет ли у вас каких-нибудь скрытых интересов вовлечь меня в этот поступок.

Если бы я могла продолжать эту характеристику вне обычных пределов, то прибавила бы сюда еще ряд рассказов, которые не смогу поместить в другом месте и которые подтвердили бы то, что я стараюсь доказать. Приведу еще только один, который кажется мне здесь вполне уместным.

Бонапарт готовился к отплытию в Египет. Он посетил Талейрана, который был в то время министром иностранных дел в правительстве Директории. «Я был тогда болен и лежал в постели, – говорил Талейран. – Бонапарт сел около меня, поверил мне мечты своего юного воображения и заинтересовал живостью своего ума, а также всеми препятствиями, которые он должен был встретить со стороны своих тайных врагов, о которых я знал. Он рассказал мне

¹¹ Фердинанд VII (1784–1833) – сын Карла IV; конфликтовал с отцом и имел репутацию вождя национальной партии, оппонирующей Наполеону.

о своих затруднениях из-за недостатка денег и сказал, что не знает, как достать их. «Послушайте, – сказал я ему, – откройте мой письменный стол, вы найдете там 100 тысяч франков, которые принадлежат мне; в данный момент они – ваши, вы вернете мне их по возвращении». Бонапарт бросился мне на шею, и мне стало как-то приятно от его радости.

Сделавшись консулом, он вернул мне деньги, которые я одолжил ему. А потом однажды спросил: «Какой интерес мог быть у вас, чтобы одолжить мне эти деньги? Сотни раз задавал я себе этот вопрос и не мог хорошо понять, какова была ваша цель». – «Дело в том, – отвечал я ему, – что у меня не было никакой цели. Я был болен, мог никогда вас больше не увидеть. Вы были молоды, вы произвели на меня сильное и глубокое впечатление, меня влекло к тому, чтобы оказать вам эту услугу без всякой задней мысли». – «В таком случае, – продолжал Бонапарт, – если у вас действительно не было никакого предвидения, вы сыграли роль простака»».

Следуя порядку, который указала раньше, я должна говорить теперь о сердце Бонапарта. Но если можно представить себе, что существо, во всем нам подобное, может быть лишено того органа, который дает нам потребность любить и быть любимым, я сказала бы, что в момент появления на свет Бонапарта сердце его было забыто или, может быть, ему удалось совершенно обуздать его. Он всегда слишком много заботился о своей славе, чтобы отдаться какому бы то ни было нежному чувству. Он почти не признавал никаких уз крови, никаких естественных прав. Я не знаю, не был ли он лишен даже чувства отца, по крайней мере оно не играло, судя по всему, главной роли в его отношении к сыну.

Однажды во время завтрака, к которому был допущен Тальма, что случалось довольно часто, привели маленького Наполеона.

Император берет его к себе на колени и, очень далекий от какой бы то ни было ласки, забавляется тем, что бьет его, – правда, довольно легко. «Тальма, – говорит он, – скажите, что это я делаю?» Тальма, естественно, затрудняется с ответом. «Вы не видели? – продолжает император. – Я секу короля».

Несмотря на обычную сухость, Бонапарт, однако, порой испытывал чувство любви. Но, Господи Боже, что это была за манера испытывать любовь! Впрочем, любовь, как и набожность, принимает обыкновенно все оттенки характера. У природы нежной любовь ведет к почти полному перевоплощению в любимое существо, у человека с характером Наполеона она является поводом к проявлению еще большего деспотизма.

Император презирал женщин, а презрение – плохая школа для любви. Женская слабость казалась ему неоспоримым доказательством того, что они – существа низшие, а влияние их в обществе представлялось невыносимой узурпацией, результатом и недостатком прогресса нашей цивилизации, всегда несколько его личным врагом, по выражению Талейрана. Бонапарт всю жизнь испытывал некоторое стеснение с женщинами, а так как его раздражало всякое стеснение, он плохо относился к ним, не зная, как надо с ними говорить.

По правде говоря, он мало встречал женщин, которые могли бы изменить его взгляды. Легко представить себе, какого рода связи были у него в юности. В Италии он встретил полный упадок нравственности, который еще увеличивался от присутствия французской армии, а когда Бонапарт вернулся во Францию, общество было совершенно рассеяно. Испорченный круг, стоявший близко к Директории, пустые и фривольные жены деловых людей и поставщиков, – вот каковы были парижанки, которых знал Бонапарт. Когда же он достиг консульства, пережил своих генералов и адъютантов и призвал ко двору их жен, то увидел близ себя очень юных, робких и молчаливых женщин или жен своих товарищей по оружию, которые внезапно выдвинулись из прежнего, очень скромного положения вследствие перемены судьбы их мужей; но эта перемена была так быстра, что они не могли скрыть ее.

Я склонна думать, что Бонапарта, почти исключительно занятого политикой, если и привлекала любовь, то только из тщеславия. Он признавал женщин только прекрасных или по крайней мере молодых. Он, вероятно, охотно подал бы голос за то, чтобы в благоустроенной

стране нас убивали, как насекомых, которых сама природа осудила на смерть после осуществления ими задачи материнства.

Но все же Бонапарт некогда испытывал чувство любви по отношению к своей первой жене; действительно, если он когда-нибудь волновался, то, несомненно, только ради нее и из-за нее. Можно быть Наполеоном, но нельзя совершенно избежать всяких влияний, и характер человека выражается не в том, каким он бывает всегда, а в том, каким он бывает по большей части. Бонапарт был еще молод, когда познакомился с госпожой Богарне. Благодаря имени, которое она носила, благодаря необыкновенному изяществу манер, она, безусловно, превосходила тот круг, где он ее встретил. Она привязалась к нему, и это льстило его гордости; благодаря ей он достиг видного положения и привык связывать с ее влиянием все, что было счастливого в его судьбе. Она умело поддерживала в нем это суеверие, которое долго оказывало на него влияние и даже несколько раз задерживало исполнение проектов о разводе. Бонапарт считал, что, женившись на Жозефине Богарне, он заключает союз с очень знатной дамой; это была новая победа. В характеристике, посвященной специально госпоже Бонапарт, я расскажу подробнее о том очаровании, под влиянием которого находился Бонапарт.

Несмотря, однако, на предпочтение, которое он ей оказывал, я видела его влюбленным два или три раза, и вот когда проявлялся весь его деспотизм. Как он раздражался от малейшего препятствия! Как резко отвечал на ревнивые беспокойства своей жены! «Вы должны, – говорил он ей, – подчиняться всем моим фантазиям и находить совершенно естественным, что я доставляю себе подобные развлечения. Я имею право ответить на все ваши жалобы вечным «я». Я не стою на одном уровне со всеми и ни от кого не принимаю никаких условий». Но притом же, угнетая своей властью ту, которой он на мгновение пренебрегал, стремился он подчинить себе и другую, бывшую предметом его мимолетного внимания.

Удивленный возможностью даже временного превосходства над собой, он раздражался, подчинялся только мимолетно, крайне резко обходился с предметом своей победы и, достигнув ее, охладевал и спешил освободиться, публично открывая тайну своего успеха.

Ум императора составлял, бесспорно, самую выдающуюся часть его существа. Трудно, кажется, представить себе ум более обширный. Образование ничего к нему не прибавило, так как, в сущности, Бонапарт был невежествен, мало читал и притом всегда поспешно. Но он легко овладевал всем, что узнавал, а воображение давало возможность развить все это. Способности его кажутся громаднейшими, так как в уме его могло уместиться и классифицироваться множество знаний, не утомляя его.

Одна мысль порождала у него тысячи других, и одно какое-нибудь слово переносило его беседу в области самые возвышенные, – правда, не всегда по законам строгой логики, но всегда так, что ярко сквозил ум.

Я с большим удовольствием слушала, как он разговаривает или, вернее, говорит, так как его беседа большей частью состояла из длинных монологов. Это делалось не потому, что он не допускал возражений (конечно, когда бывал в хорошем настроении). Двор его, в течение долгого времени исключительно военный, имел обыкновение слушать все его речи как приказы, а позднее двор этот стал настолько многочислен, что никто не пытался брать на себя роль оппонента или же собеседника.

Мне приходилось уже говорить, что Бонапарт плохо выражал свои мысли; однако речь его обыкновенно бывала блестяща и оживленна, а грамматические ошибки иногда даже придавали ей неожиданную силу, всегда прекрасно подкрепленную оригинальностью идей. Притом он не нуждался в собеседнике, чтобы увлечься. С того момента, как Бонапарт входил в вопрос, он быстро шел вперед, однако, внимательно глядя, следуют ли за ним, и с удовольствием видя, что его понимают и аплодируют ему. Иной раз уметь слушать было удобным и верным средством понравиться ему. Подобно актеру, воодушевляющемуся эффектом, который он производит, Бонапарт радовался одобрению, которого искал в глазах своей аудитории. Он сильно интере-

совал меня, когда говорил, я слушала его с удовольствием, и вспоминаю, как он провозгласил меня умной женщиной, хотя я не сказала ему еще и двух сколько-нибудь связанных фраз.

Он любил говорить о себе, рассказывать и судить так, как мог бы судить о нем другой. Чтобы извлечь выгоды из своего характера, он иногда подчинял его самому строгому анализу. Он часто говорил, что истинно государственный человек умеет рассчитать все мельчайшие выгоды, какие может извлечь даже из своих недостатков. Талейран выражается об этом еще сильнее. Я слышала, как однажды он раздраженно воскликнул: «Этот демонический человек обманывает по всем пунктам. Даже страсти его ускользают от вас, так как он находит способ вымышлять их, хотя они, конечно, и в самом деле существуют в нем».

Мне приходит на память сцена, ясно рисуемая, до какой степени умел Бонапарт переходить от самого полного спокойствия к самому сильному гневу, когда это казалось ему нужным.

Незадолго до нашего последнего разрыва с Англией вдруг распространяется слух, что война вот-вот возобновится и что посланник, лорд Витворт, готовится к отъезду. Обыкновенно один раз в месяц, утром, консул принимал у госпожи Бонапарт посланников и их жен. Эта аудиенция происходила с большой торжественностью. Иностранцы собирались в зале, и когда все были в сборе, об этом докладывали Первому консулу. Он показывался вместе со своей женой, за ними следовали префект и придворная дама. Им представляли посланников и их жен. Госпожа Бонапарт садилась побеседовать с минуту, Первый консул поддерживал более или менее продолжительный разговор и затем удалялся с легким поклоном.

Незадолго до нарушения мира весь дипломатический корпус был, по обыкновению, собран в Тюильри. Пока ожидали Бонапарта, я прошла во внутренние апартаменты госпожи Бонапарт и вошла в комнату, где она заканчивала свой туалет. Первый консул, сидя на полу, весело играл с маленьким Наполеоном, старшим сыном его брата Луи.

Вместе с тем он развлекался, контролируя туалет госпожи Бонапарт и мой собственный и сообщая свое мнение о каждой части нашего костюма. Казалось, он в самом лучшем настроении. Я заметила это и сказала, что донесения, которые будут отправлены посланниками в этот вечер, вероятно, будут говорить только о мире и согласии, – таким веселым и спокойным покажется он им. Бонапарт рассмеялся и продолжал играть с ребенком.

Вдруг его извещают, что все в сборе. Он вскакивает, и веселая улыбка мгновенно исчезает с его лица; меня поразило строгое выражение, сменившее ее; он точно бледнеет благодаря усилию воли, черты его искажаются, и все это в мгновение ока, скорее, чем это возможно описать. «Ну, дамы», – произносит он взволнованно и быстро направляется в залу. Никому не кланяясь, подходит он к английскому посланнику, и тут начинаются горькие жалобы на все, что случилось в его управление. Гнев его, по-видимому, растет с каждой минутой и достигает такого пункта, который пугает уже все собрание. Самые жесткие слова, самые ужасные угрозы срываются каким-то полусдавленным шепотом с его уст. Никто не смеет пошевелиться. Госпожа Бонапарт и я смотрим друг на друга, онемев от изумления; каждый более или менее трепещет за себя. Даже постоянная флегматичность англичанина поколеблена, и он едва находит какие-то слова для ответа.

Другой рассказ, несколько странный, но очень характерный, может доказать, до какой степени он владел собой¹².

Когда Бонапарт предпринимал какое-нибудь путешествие или совершал какую-нибудь кампанию, он не пренебрегал и некоторого рода развлечениями, посвящая им время в короткие промежутки между делами или битвами. Зять его Мюрат или маршал Дюрок должны были позаботиться о том, чтобы найти для него способ удовлетворять его мимолетные фантазии.

¹² Аббат де Прадт рассказывает, что однажды после гневной сцены император подошел к нему и спросил: «Вы думаете, что я очень разгневан? Разувьтесь: у меня гнев никогда не идет дальше этого», – и он провел рукой по шее, показывая, что волнение желчи никогда не смущает его ума (И.Р.).

Тотчас после первого его прибытия в Польшу Мюрат, приехавший в Варшаву раньше его, получил приказание найти для императора молодую прекрасную женщину, по возможности – среди аристократии. Он удачно исполнил это поручение и подыскал для исполнения этого акта любезности молодую знатную польку, которая была замужем за стариком. Неизвестно, какой способ употребил Мюрат, каковы были его обещания, но в конце концов он добился того, что она согласилась на все условия и даже на то, чтобы отправиться однажды вечером в замок, расположенный неподалеку от Варшавы, где остановился император.

Вот, наконец, эта прелестная особа отправляется в путь и прибывает довольно поздно в место назначения. Она сама рассказывала об этом приключении, признаваясь (чему, конечно, нетрудно верить), что приехала взволнованная и дрожащая. Император сидел в своем кабинете. Ему докладывают о прибывшей. Не беспокоя себя, он велит проводить ее в комнату, для нее предназначенную; велит предложить ей ванну и ужин и прибавляет, что после этого она может ложиться спать. Сам он продолжает заниматься до глубокой ночи.

Наконец, когда все дела его закончены, он направляется в комнату, где его так долго ждали как господина, который пренебрегает излишними приготовлениями. Затем, не теряя ни минуты, он начинает самый необыкновенный разговор о политическом положении Польши, расспрашивая молодую женщину так, как сделал бы это с полицейским агентом, собирая самые обстоятельные сведения о всех польских вельможах, находящихся в то время в Варшаве. Он тщательно расспрашивает об их взглядах, об их интересах в данное время и долго продолжает этот странный допрос.

Можно представить себе удивление молодой двадцатилетней женщины, которая совсем не приготовилась к подобному дебюту. Она постаралась по мере сил удовлетворить его, и только тогда, когда ей нечего было больше говорить, он, казалось, вспомнил, что по крайней мере Мюрат обещал ей от его имени гораздо более нежные слова.

Как бы там ни было, известно, что этот способ действий не помешал молодой польке привязаться к нему, так как связь эта продолжалась в течение нескольких кампаний Наполеона.

Впоследствии она приехала в Париж, и там у нее родился сын, предмет надежд поляков, которые возлагали на него упования относительно своей будущей независимости... Я видела мать, представленную к императорскому двору. Сначала она возбуждала ревность госпожи Бонапарт, а после развода стала, наоборот, в Мальмезоне довольно близкой подругой отвергнутой императрицы, к которой часто приводила своего сына.

Уверяли, что, оставшись верной императору и в несчастий, она не раз посещала его на острове Эльба; он нашел ее во Франции и тогда, когда совершилось его последнее роковое появление. Но после его вторичного падения (я не знаю, когда она овдовела) полька вышла замуж и умерла в Париже в том же 1818 году. Я знаю все эти подробности от Талейрана.

Но вернемся к начатой характеристике. Бонапарт был очень большим индивидуалистом, его нелегко было тронуть тем, что лично его не касалось. Однако порой и он бывал застигнут некоторыми порывами чувствительности, но они всегда быстро проходили и сильно раздражали его. Нередко он бывал так взволнован, что проливал даже слезы, – кажется, они были результатом нервного возбуждения, и тогда наступал кризис. «У меня, – говорил он сам, – крайне несговорчивые нервы, и, если бы кровь не текла всегда так медленно в моих жилах, я рисковал бы сойти с ума». Я знаю, в самом деле, от Корвисара¹³, что в его артериях кровь пульсировала медленнее, чем у других людей. Бонапарт никогда не испытывал того, что называется обыкновенно головокружением, он говорил, что даже не может понять выражения: «У меня голова кружится».

Бонапарт часто давал волю жестоким и оскорбительным по отношению к собеседнику словам, и не только потому, что был крайне снисходителен к малейшим своим побуждениям, –

¹³ Корвисар Жан Никола (1755–1821) – лейб-медик Наполеона.

казалось, он находил удовольствие в том, чтобы запугивать и оскорблять тех, кто до известной степени дрожал перед ним. Он думал, что тревога возбуждает рвение, и поэтому старался всегда казаться всем и всеми недовольным. Ему прекрасно служили, повиновались ему мгновенно, и, однако, он постоянно жаловался и охотно допускал, чтобы в личной части его дворца царил легкий и мелочный страх.

Если в увлечении разговором с ним вдруг устанавливалась хотя бы на минуту некоторая непринужденность, сразу становилось заметно, что он боится, как бы не злоупотребили ею; тогда резким и высокомерным словом он быстро возвращал на место, т. е. к обычному страху, того, с кем только что был ласков и приветлив.

По-видимому, Бонапарт ненавидел всякий отдых – и для себя, и для других. Когда господин Ремюза устраивал для него великолепные празднества, где были собраны все искусства, чтобы доставить ему удовольствие, я даже никогда не спрашивала, доволен ли император, а только – не много ли он ворчал.

Служить ему было самым тяжким делом в мире; ему самому случалось говорить, в минуту наибольшей откровенности: «Истинно счастлив только тот, кто прячется от меня в самой глубине провинций; когда я умру, весь мир облегченно скажет: уф!»

Я уже говорила, что Бонапарт был чужд какого-либо великодушия, а между тем дары его бывали неисчислимы, награды, раздаваемые им, – огромны. Но когда он платил за услугу, то слишком сильно давал почувствовать, что рассчитывает этим купить себе новую, и все оставались в смутной тревоге по поводу условий торга.

Иногда в его щедрости бывало много фантазии, и редко его благодеяния вызывали признательность. Впрочем, он требовал, чтобы деньги, которые он раздавал, были истрачены; любил, чтобы делали долги, так как это поддерживало зависимость от него. Его жена давала ему самое полное удовлетворение в этом отношении, и он никогда не желал привести в порядок ее дела, чтобы сохранить способ держать ее в вечной тревоге.

Однажды он назначил Ремюза большое содержание, требуя, чтобы у нас было то, что называется открытым домом, и собиралось много иностранцев. Мы сделали все те расходы, которых требует такой дом. Вскоре я перенесла большое несчастье – потеряла мать – и вынуждена была прекратить приемы. Тогда вдруг император отнимает у нас все свои дары, потому что, говорит он, мы не выполнили данные обещания. Он оставил нас самым безжалостным образом в стесненном положении, в которое нас вовлекли исключительно его мимолетные и стеснительные щедроты.

Здесь мне приходится остановиться. Если мне удастся выполнить задуманный план, я, постепенно обращаясь к своей памяти, приведу и другие рассказы, которые дополняют этот беглый эскиз. Он должен бы дать хоть некоторое понятие о характере того человека, с которым судьба связала меня в лучшие годы моей жизни.

Мать Бонапарта

Госпожа Бонапарт, мать Наполеона (урожденная Рамолино), вышла замуж четырнадцати лет в 1764 году за Карла Бонапарта, семья которого была записана в ряды дворянских фамилий Корсики. Говорили, что у нее была связь с де Марбефом, губернатором этого острова, и будто бы даже Наполеон был плодом этой связи. В самом деле, у него всегда были какие-то отношения с семьей Марбеф. Как бы там ни было, губернатор признал Наполеона Бонапарта в числе тех дворянских детей, которые были посланы из Корсики во Францию, чтобы воспитываться в военной школе. Он был помещен в школу в Бриенне.

Когда англичане овладели Корсикой в 1793 году, госпожа Бонапарт, богатая вдова, переселилась с другими детьми в Марсель. Воспитание детей было в большом пренебрежении; если верить воспоминаниям марсельцев, на дочерях ее не отразились принципы слишком строгой

морали. Император никогда не мог простить Марселю того, что город этот был свидетелем недостатка уважения по отношению к его родным, и неприятные анекдоты, неосторожно рассказанные некоторыми провансальцами, постоянно вредили в глазах императора интересам всего Прованса.

На время воспитания сына госпожа Бонапарт поселилась в Париже. Она жила довольно замкнуто, накапливая деньги по мере возможности, но не вмешивалась ни в какие дела и не старалась оказывать влияния. Ее сын импонировал ей, как и всем на свете. Это была женщина очень посредственного ума; несмотря на высоту, на которую вознесли ее события, она так и не подала повода ни к каким похвалам. После падения Наполеона она удалилась в Рим, где и поселилась со своим братом, кардиналом Фешем.

О нем говорят, что во время первой итальянской кампании он с крайней алчностью воспользовался обстоятельствами, чтобы создать себе состояние. Феш получил, или даже, как говорят, захватил, огромное количество картин, статуй и драгоценностей, которые служили украшением различных его резиденций. Позднее, когда он сделался архиепископом Лиона и кардиналом, то сумел понять, какие обязанности налагают на него эти два сана, и в конце концов приобрел среди духовенства довольно почетную репутацию. Иногда, когда происходили столкновения с папой, он возражал императору и оказывал немалое сопротивление исполнению его желаний со времени неудачной попытки с церковным Парижским собором. Может быть, из-за политических мотивов, а может быть, по мотивам религиозным, он несколько противился разводу, по крайней мере Жозефина Бонапарт так думала. Далее я несколько подробнее остановлюсь на этом вопросе.

Жозеф Бонапарт

Жозеф, родившийся в 1768 году, красивый и благосклонный к женщинам, всегда отличался более мягкими манерами, чем все его братья, но, подобно им, также склонен был к фальши. Иногда он проявлял честолюбие; конечно, не так резко, как Наполеон, но ум его обыкновенно не оказывался на высоте тех положений, действительно трудных, в которые он бывал поставлен.

В 1805 году Бонапарт хотел сделать Жозефа королем Италии, при условии, чтобы он отрекся от прав на французский престол, но Жозеф отказался. Он обнаруживал всегда необыкновенную настойчивость в сохранении того, что считал своим правом. Ему казалось, что его призвание – дать отдохнуть французам от того вечного беспокойства, в которое вовлекала их деятельность брата. Ему лучше, чем Наполеону, удавалось достигать успеха мягкими средствами, но он не умел внушать доверия.

Жозеф был покладист в частной жизни, но так и не проявил способностей на тронах Неаполя и Испании. Правда, ему было дозволено царствовать только в качестве лейтенанта Наполеона. В обеих странах он не внушил ни уважения, ни вражды, которые относились бы лично к нему. Жена его, дочь марсельского негоцианта по фамилии Клари, была самым простым и добрейшим существом в мире. Некрасивая, худая, застенчивая и молчаливая, она не играла никакой роли ни при дворе императора, ни тогда, когда ей пришлось носить одну за другой две короны, которые она потеряла, по всей вероятности, без сожаления. От этого брака родились две дочери. Вся семья устроилась теперь в Северной Америке.

Сестра жены Жозефа вышла замуж за генерала Берна-дотта, ныне короля Швеции.

В ее характере была некоторая оригинальность; до своего замужества она была охвачена очень сильным чувством по отношению к Наполеону, о котором, кажется, сохранила воспоминание на всю жизнь. Предполагают, что остаток этой не вполне погасшей страсти был причиной ее упорного отказа покинуть Францию. Сейчас она живет в Париже, совершенно инкогнито.

Люсьен Бонапарт

Люсьен Бонапарт был очень умен. У него рано развилась любовь к искусствам и известной литературе. Когда он был депутатом от Корсики, некоторые речи его в Совете пятисот обратили на себя внимание; между прочими речь, произнесенная 22 сентября 1798 года, в годовщину установления республики. Он провозгласил в ней пожелание, какое должен был сделать каждый из членов собрания, – сохранить основы конституции и свободу, – и произнес жестокою анафему всякому французу, который попытается восстановить монархию.

Генерал Журдан выразил тогда некоторые опасения по поводу распространившихся слухов о том, что Совету в скором времени угрожает переворот. Люсьен напомнил, что существует декрет, объявляющий вне закона всякого, кто осмелится нарушить неприкосновенность народного представительства. Тем не менее очень вероятно, что, уговорившись с братом, он выждал момент, когда они могли бы заложить основы для возвышения своей семьи. У Люсьена были некоторые конституционные идеи, и, быть может, если бы он сохранил свое влияние на брата, то помешал бы безграничному росту произвола последнего.

Между тем ему удалось доставить Наполеону в Египет вести о положении дел во Франции и ускорить его возвращение. Он также много помогал ему, как всем известно, в перевороте 18-го брюмера 1799 года. С этого времени Люсьен становится сначала министром внутренних дел, затем посланником в Испании и повсюду является предметом подозрений Первого консула. Бонапарт не любил воспоминаний об услугах, оказанных ему, а Люсьен имел обыкновение с раздражением напоминать о них в их частых ссорах.

Во время пребывания в Испании он близко сошелся с князем Мира¹⁴ и участвовал в Бадахосском трактате, который на этот раз спас Португалию от вторжения. Люсьен Бонапарт получил в награду значительные суммы денег и бриллианты, которые оценены в 500 миллионов. У него возник проект женить Наполеона на испанской инфанте, но Наполеон, из любви к жене или боясь подозрений со стороны республиканцев, которых еще шадил, отверг эту идею.

В 1790 году Люсьен женился на дочери трактирщика, которая подарила ему двух дочерей и через несколько лет умерла. Старшая из этих дочерей позднее была призвана во Францию императором. Увидев, что дела в Испании идут плохо, император хотел заключить мир с наследником престола принцем Астурии и женить его на старшей дочери Люсьена. Но Шарлотта, живя у бабушки, слишком откровенно написала отцу о впечатлениях, полученных ею при дворе дяди. Она насмеялась над самыми видными лицами; письма ее были распечатаны, и разгневанный император отослал ее в Италию.

В 1803 году Люсьен, овдовевший и предававшийся ухаживаниям, которые могли бы быть названы и несколько иначе, влюбился в мадам Жубертон, жену биржевого маклера, который был послан в Сан-Доминго, где и умер. Мадам Жубертон, красивая и ловкая женщина, сумела женить на себе Люсьена, несмотря на протесты Первого консула. Тогда несогласие двух братьев превратилось в полный разрыв, и Люсьен покинул Францию весной 1804 года. Он поселился в Риме.

Известно, что он сумел войти в интересы папы и ловко снискать его покровительство, и все это так удачно, что, уже после того, как он был призван во Францию во время роковой попытки 1815 года и после вторичного возвращения короля, Люсьен опять приехал в Папскую область и мог спокойно устроиться с частью своей семьи.

¹⁴ По фамилии Год ой, который пользовался влиянием на испанского короля Карла IV.

Луи Бонапарт

Луи Бонапарт, родившийся в 1778 году, – человек, о котором сложились самые разнообразные мнения. Какое-то лицемерие, чтобы казаться добродетельным человеком, и странные взгляды, опирающиеся, однако, скорее на случайные теории, чем на стойкие принципы, вводили многих в заблуждение и создали ему иную репутацию, чем его братьям.

По уму он был гораздо ниже Наполеона и Люсьена, в его воображении всегда присутствовало что-то романтическое, что он умел, однако, соединить с полной сухостью сердца. Всегдашняя болезненность омрачила его юность и усилила острую тоску, к которой Луи был склонен по характеру.

Я не знаю, развилось бы в нем честолюбие, свойственное всей его семье, если б он был предоставлен самому себе, но во многих случаях он не упускал возможности воспользоваться благоприятными обстоятельствами.

Известно, что ему хотелось управлять Голландией в интересах страны, наперекор желаниям брата, и его отречение, скорее по капризу, чем из великодушия, все же делало ему честь. В сущности, это был лучший поступок его жизни.

Бонапарт однажды сказал о нем: «Его притворные добродетели создают мне столько же затруднений, сколько и пороки Люсьена». После падения семьи Луи удалился в Рим.

Луи Бонапарт был по натуре эгоистом и человеком подозрительным. Продолжение этих мемуаров лучше познакомит с ним читателя.

Жозефина Бонапарт и ее семья

Маркиз Богарне, отец генерала Богарне, первого мужа госпожи Бонапарт, занимал военную должность на Мартинике. Там он влюбился в тетку госпожи Бонапарт, с которой возвратился во Францию и на которой женился в старости. Эта тетка вызвала во Францию свою племянницу, Жозефину де ля Пажери. Она воспитала ее и, воспользовавшись своим влиянием на старого мужа, пятнадцати лет выдала замуж за своего пасынка, молодого Богарне. Он женился против воли, однако, надо думать, все же испытывал некоторую привязанность к жене: мне приходилось читать очень нежные письма, которые он писал ей из гарнизона и которые она тщательно хранила.

От этого брака родились Евгений и Гортензия. Когда началась революция, по-видимому, чувства супругов уже охладели. В начале террора Богарне командовал французской армией; все отношения с женой были уже прерваны.

Я не знаю, какие обстоятельства связали ее с некоторыми членами Конвента, но она пользовалась среди них известным влиянием, а так как была добра и любезна, то старалась оказывать услуги, насколько это было в ее власти. С этих пор репутация Жозефины была сильно скомпрометирована, но никто не оспаривал ее доброты, изящества и мягкости манер.

Несколько раз она оказала услуги моему отцу перед Баррасом и Тальеном, влиятельными членами левого крыла Конвента, и это сблизило ее с моей матерью. В 1793 году она случайно поселилась в деревне в окрестностях Парижа, где наша семья проводила лето. Это деревенское соседство привело к еще большему сближению. Я помню, как юная Гортензия, которая была моложе меня на три или четыре года, приходила ко мне в гости; заходя в мою комнату, она забавлялась тем, что составляла инвентарь некоторых моих драгоценностей, и говорила, что ее честолюбие было бы вполне удовлетворено в будущем, если бы она обладала такими сокровищами. Эта несчастная женщина впоследствии была обременена и украшениями, и бриллиантами, и как же страдала она под тяжестью алмазной диадемы, готовой, казалось, раздавить ее!

В те времена, когда каждый должен был искать убежища, чтобы избежать преследований, мы потеряли из виду госпожу Богарне. Муж ее, возбудивший подозрения якобинцев, был заключен в тюрьму в Париже и приговорен революционным трибуналом к смертной казни. Госпожа Богарне, также попавшая в тюрьму, избежала секиры, поражавшей всех без различия. Связанная дружбой с красавицей Тальен, она была принята в общество Директории и находилась под особым покровительством Барраса.

Госпожа Богарне не была состоятельна, а любовь к туалетам и роскоши ставила ее в зависимость от тех, кто мог ей помочь. Хотя она не может быть названа красивой, но во всем ее существе присутствовало какое-то своеобразное очарование. Черты лица ее были тонки и гармоничны, во взгляде было много мягкости; маленький рот хорошо скрывал плохие зубы; цвет лица, несколько смуглый, неясно скрывали румяна и белила, фигура была безукоризненна, все члены гибки и нежны; все ее движения были непринужденны и изящны. К ней вполне применим стих Лафонтена: «Грация, которая прекраснее красоты».

Она одевалась с необыкновенным вкусом: все, что она носила, выигрывало на ней. Благодаря этим преимуществам и изысканности костюма, ее никогда не могли затмить ни красота, ни молодость многих женщин, ее окружавших.

Ко всему этому надо добавить, как я уже говорила, ее необыкновенную доброту, доброжелательность и способность забывать зло, которое ей желали причинить. Жозефина не обладала выдающимся умом. Креолка и притом кокетка, она получила плохое воспитание; знавала, чего ей недостает, и никогда не выдавала в разговоре недостатка своего образования. У нее был довольно тонкий врожденный такт, ей легко удавалось говорить людям то, что нравилось; она обладала хорошей памятью – полезным качеством для лиц высокопоставленных.

К несчастью, ей доставало серьезности в чувствах и возвышенности души. Она предпочитала влиять на мужа больше своей прелестью, чем добродетелью. В своей снисходительности к нему она доходила до крайности и только благодаря ей сохраняла свое влияние; но эта же снисходительность способствовала укреплению в нем презрения к женщинам. Иногда Жозефина могла бы дать ему полезный урок, но она боялась его и, напротив, сама находилась под его влиянием. Притом же она была легкомысленна, изменчива, склонна легко волноваться и легко успокаиваться, неспособна на глубокие чувства, на сосредоточенное внимание или серьезное размышление; если величие не вскружило ей голову, то ничему и не научило. Натура влекла ее к тому, чтобы утешать несчастных, но она обращала внимание только на страдания частных лиц и никогда не думала о страданиях Франции.

Ей весьма импонировал гений Бонапарта: если она и осуждала его, то только в том, что касалось ее лично, а во всем остальном уважала то, что он сам называл своей судьбой. Он оказал на Жозефину пагубное влияние, так как внушил ей презрение к известной морали, довольно большую подозрительность и привычку ко лжи, к которой оба они искусно прибегали.

Говорили, что она стала наградой за командование Итальянской армией; госпожа Богарне уверяла меня, что в то время Бонапарт был действительно влюблен в нее. Она колебалась, кого выбрать: Бонапарта, генерала Гоша или Коленкура, который также любил ее. Превосходство Бонапарта увлекло ее. Я знаю, что моя мать, жившая тогда в деревне, удивилась, что вдова генерала Богарне вышла замуж за человека, так мало известного.

Когда я расспрашивала ее о личности Бонапарта в юности, она рассказывала, что он был тогда мечтательным, молчаливым, застенчивым с женщинами, но страстным и способным увлечь, хотя несколько странным во всей своей личности. Путешествию в Египет она приписывала перемену его настроения, развитие постоянного деспотизма, от которого она с тех пор так страдала.

Я видела письма Наполеона к госпоже Бонапарт во время первой кампании в Италию. Она последовала за ним; но иногда он оставлял ее в арьергарде армии до тех пор, пока путь не становился безопасным благодаря его победам. Эти письма очень своеобразны: крайне нераз-

борчивый почерк, ошибки, странный и запутанный стиль. Но в них царят такой страстный тон, такие сильные чувства, такие горячие и вместе с тем поэтические выражения, что каждая женщина ценила бы подобные излияния. Они представляли собой пикантный контраст с ровным и спокойным изяществом писем госпожи Богарне.

К тому же, какое положение для женщины (в эпоху, когда политика руководила всеми поступками человека) – быть как бы стимулом триумфального шествия целой армии! Накануне одной из главных битв Наполеон писал: «Я далек от тебя! Кажется, будто я попал в самую густую тьму, мне необходим роковой свет тех молний, которыми мы ударим во врагов, чтобы выйти из темноты, куда ввергло меня твое отсутствие. Жозефина, ты плакала, когда я покинул тебя. Ты плакала! При этой мысли все мое существо содрогается, но успокойся: Вюрмсер дорого заплатит за слезы, которые ты пролила». И на другой день Вюрмсер был разбит.

Энтузиазм, с которым генерал Бонапарт был встречен в прекрасной Италии, великолепные празднества, гром побед, богатства тех сокровищ, которые мог получить каждый офицер, беспредельная роскошь, которая за этим последовала, – все это приучило госпожу Бонапарт к пышности, ее с тех пор окружавшей. Она сама признавалась, что никогда и ничто не могло сравниться с теми впечатлениями, которые сохранились у нее от той эпохи, когда любовь ежедневно складывала к ее ногам победу над народом, опьяненным своим победителем.

Однако из этих же писем можно заключить, что, несмотря на престиж любви и славы, в то время, когда жизнь ее была полна триумфов и своеволия, госпожа Бонапарт иногда доставляла тревоги своему супругу-победителю. Письма выдают волнения ревности, порой смутной, порой угрожающей. Тогда у Бонапарта появляются меланхолические рассуждения, возникает как будто бы отвращение от столь преходящих иллюзий жизни. Быть может, это недовольство, оскорбляющее слишком горячее первое чувство, оказало на него влияние, которое понемногу его иссушило. Быть может, он сам был бы лучше, если бы его больше, а главное, лучше любили.

Когда же по окончании этой блестящей кампании генерал-победитель должен был удалиться в Египет, чтобы ускользнуть от подозрений со стороны Директории, положение госпожи Бонапарт сделалось непрочным и затруднительным. Супруг ее уехал с некоторыми подозрениями против нее, которые возбуждали в нем Жозеф и Люсьен: они боялись того влияния, какое могла оказывать на Бонапарта его жена. Госпожа Бонапарт, покинутая, лишенная сына, последовавшего за Бонапартом, склонная к беспорядочным трагам, страдающая из-за долгов, сблизилась с Баррасом с помощью своего друга, госпожи Тальен, и искала опоры у директоров, особенно у Ревбея.

Бонапарт, уезжая, приказал ей купить имение. Соседство Сен-Жермена, где воспитывалась ее дочь, склонило Жозефину в пользу Мальмезона. Здесь-то мы и встретились с ней опять, так как жили несколько месяцев в замке одного из наших друзей¹⁵, расположенном вблизи приобретенного ею. Госпожа Бонапарт, по природе экспансивная и даже порой слишком откровенная, как только встретилась с моей матерью, рассказала ей очень многое относительно своего отсутствующего мужа, его братьев и о целом ряде лиц, которых мы совершенно не знали. Бонапарта считали чуть ли не погибшим для Франции; на жену его не обращали никакого внимания; мать моя жалела ее, мы проявили по отношению к ней некоторую заботу, которой она никогда не забыла. В это время мне было семнадцать лет, и я уже год была замужем.

В Мальмезоне Жозефина показала нам баснословное количество жемчугов, бриллиантов и камней, которые с тех пор входили в состав ее драгоценностей; уже в то время они заслуживали того, чтобы фигурировать в сказках «Тысячи и одной ночи», а со временем их количество еще более увеличилось. Завоеванная, но благодарная Италия содействовала увеличению этих

¹⁵ Госпожа Вержен была очень близка с Шанорье, который жил в Круасси на берегу Сены; это был богатый и умный человек, распространивший во Франции разведение меринсов. Живя здесь, госпожа Вержен с дочерьми сделала несколько визитов по соседству – в Мальмезон и возобновила с госпожой Бонапарт отношения, которыми была связана с госпожой Богарне.

сокровищ, а особенно папа, тронутый вниманием, какое оказал ему победитель, отказавший себе в удовольствии водрузить знамя на стенах Рима. Салоны в Мальмезоне были роскошно декорированы картинами, статуями, мозаиками, награбленными в Италии; притом надо заметить, что подобной добычей мог бы похвастаться каждый из генералов, фигурировавших в кампании.

Но наряду со всей этой роскошью госпожа Бонапарт иногда не в состоянии была оплатить малейшие свои расходы и для того, чтобы выйти из затруднения, старалась продавать свое влияние на людей, могущественных в ту эпоху. Таким образом, она компрометировала себя неосторожными отношениями. Терзаемая заботами, находясь в особенно плохих отношениях со своими деверями, придавая слишком большое значение их обвинениям против нее, не считывая больше на возвращение супруга, она хотела было выдать свою дочь замуж за сына директора Ревбея. Но эта молодая особа не согласилась на брак и своим протестом разрушила проект, который, конечно, очень не понравился бы Бонапарту.

Между тем разносятся слухи о прибытии Бонапарта во Фрежюс. Он возвратился с душой, истерзанной донесениями, которые ему делал Люсьен в своих письмах. Как только жена его узнает о прибытии мужа, она садится в почтовую карету, чтобы встретить его. Опаздывает, возвращается назад в свой дом на улице Шантерен через несколько часов после него. Поспешно высаживается из экипажа в сопровождении сына и дочери, которые ее встретили, поднимается по лестнице в свою комнату; но каково же ее изумление, когда она видит дверь запертой! Она зовет Бонапарта, настаивает, чтобы он отворил. Он отвечает ей из-за двери, что она не откроется для нее. Тогда Жозефина плачет, падает на колени, умоляет ради нее и ради своих детей; но все безмолвно кругом.

Значительная часть ночи проходит в этих ужасных мучениях. Наконец, побежденный ее криками и настойчивостью, около четырех часов ночи Бонапарт открывает дверь и показывается с лицом строгим, но свидетельствующим о том, что он много плакал, – я знаю это от самой госпожи Бонапарт. Он горько упрекает жену за ее поведение, за забвение, за все ее вины, действительные или вымышленные, которыми так изобиловали рассказы Люсьена. И кончает тем, что объявляет ей решение разойтись навеки. Обернувшись к Евгению Богарне, которому было тогда около двадцати лет, Бонапарт говорит ему: «Что же касается вас, то на вас не падает тяжесть вины вашей матери. Вы всегда будете моим сыном и останетесь со мной». – «Нет, генерал, – отвечает Евгений, – я должен разделить печальную судьбу моей матери и с этой минуты расстаюсь с вами».

Эти слова поколебали твердость Бонапарта. Рыдая, он заключил Евгения в объятия, жена и Гортензия обняли его колени, и вскоре все было прощено. Объясняясь, Жозефина сумела оправдаться в гнусных обвинениях деверя, и Бонапарт, желая отомстить за нее, послал за Люсьеном в семь часов утра. Не предупреждая его, он велел проводить брата в комнату, где тот застал супругов, совершенно примиренных, в объятиях друг друга.

С этих пор Бонапарт потребовал, чтобы жена его совершенно порвала с госпожой Тальен и со всем обществом Директории. 18-го брюмера еще решительнее уничтожило эти отношения. Госпожа Бонапарт рассказала мне, что накануне этого важного дня она с изумлением увидела, как Бонапарт зарядил два пистолета и положил их около кровати. Отвечая на ее вопросы, он сказал, что ночью могут произойти события, ради которых и необходимы подобные предосторожности. Сказав это, он лег и заснул глубоким сном до следующего утра.

Став консулом, Бонапарт воспользовался мягкостью и любезностью своей жены, чтобы привлечь ко двору тех, кого отпугивала его природная суровость. Он предоставил ей заботы о возвращении эмигрантов. Почти все возвращения прошли через руки госпожи Бонапарт; она явилась первым звеном, которое сблизило французское дворянство с правительством Консульства. Мы подробнее познакомимся с этим во многих главах далее.

Евгений Богарне, родившийся в 1781 году, прошел через все периоды своей порой бурной, порой блестящей жизни, всегда сохраняя право на всеобщее уважение. Его поведение доказало, что не широта ума придает уверенность поступкам и согласует их между собой, а известная гармония в свойствах характера.

Принц Евгений, порой находясь в армии со своим отцом, а порой живя среди праздного и утонченного общества матери, говоря правду, не получил никакого воспитания. Природный инстинкт, который направлял его на все прямое, правдивое, школа Бонапарта, которая отшлифовала его, не сбывая с дороги, наконец, и школа жизни – вот что воспитало его. Госпожа Бонапарт неспособна была дать решительный совет; и сын, который очень любил ее, рано заметил, что никогда не должен с ней советоваться. Существуют характеры, которые по природе склонны к рассудительности.

Наружность принца Евгения была не лишена приятности. У него изящная манера держать себя; очень ловкий во всех физических упражнениях, он получил от отца первые уроки той обходительности, которая была свойственна французскому дворянину прежних времен. Он присоединил к этим качествам простоту и добродушие; у него нет ни тщеславия, ни высокомерия, он искренен без болтливости, молчалив, когда следует, но у него мало природного ума, сдержанное воображение, некоторая сухость сердца. Он всегда повиновался своему отчиму, ценил его совершенно, но, хотя не отдавался никаким иллюзиям на его счет, не колеблясь, даже вопреки своим интересам, хранил по отношению к нему как бы религиозную верность. Ни в одном случае не проявил он ни малейшего признака недовольства: как тогда, когда император, осыпая почестями свою собственную семью, казалось, нарочно забывал его, так и тогда, когда он отверг его мать. Во время развода Евгений держался очень благородно.

Будучи полковником, Евгений заслужил любовь своих солдат. Его отмечали в Италии, в армии, повсюду. Правители Европы уважали его, и все с удовольствием видели, что его счастливая судьба оказалась прочнее, чем судьба всей его семьи.

Он имел счастье жениться на очаровательной принцессе, которая всегда обожала его и которую он сделал счастливой¹⁶. В нем удачно сочеталось все то, что создает счастье в частной жизни: ровность настроения, мягкость, естественная и постоянная веселость. Может быть, все это несколько объясняется и тем, что ничто его глубоко не трогало. Но если подобного рода индифферентность по отношению ко всему, что интересует других, сохраняется и тогда, когда нас постигают личные несчастья, – ее можно назвать философским отношением к жизни.

Сестра принца Евгения, которая моложе его на несколько лет (родилась в 1783 году), была, кажется, самой несчастной женщиной эпохи и менее всего этого заслуживающей. Она была недостойно оклеветана ненавистью Бонапарта, осыпана обвинениями, которые так охотно прилагали ко всему, что касалось ее семьи, и не оказалась достаточно сильной, чтобы с успехом бороться и протестовать против лжи, которая омрачила ее жизнь¹⁷.

Гортензия не отличалась, так же, как мать ее и брат, выдающимся умом, но, подобно им, обладала тактом, а в душе ее было больше чего-то возвышенного, или, если угодно, более экзальтированного.

Предоставленная в молодости самой себе, она не поддавалась опасным примерам, которые видела вокруг себя.

¹⁶ Евгений Богарне был женат на Августе (1788–1851), принцессе Баварской, которая родила ему семерых детей.

¹⁷ Может быть, страницы этих мемуаров, относящиеся к королеве Гортензии, вызовут удивление. Моя бабушка жила и умерла в убеждении, что, говоря так, она отдает дань истине. Но преобладало противоположное мнение, и оно закреплено сыном королевы, императором Наполеоном III, который оказывал знаки особенного внимания герцогу де Морни. (Речь здесь идет о романе Гортензии Бонапарт, жены Луи, с Шарлем де Флао, внебрачным сыном Талейрана. У них родился сын Шарль-Огюст, будущий герцог де Морни.) Возможно, как это часто случается, все это было верно в известную эпоху. В молодости – невинность и страдание, немного позднее – утешение. Незачем говорить, что я сохраняю текст мемуаров в том виде, как они написаны рукой самого автора.

В элегантно пансионе госпожи Кампан она проявила больше талантливости, чем приобрела образования.

В молодости большая свежесть, прелестного цвета волосы, прекрасная фигура делали ее привлекательной; но зубы ее рано испортились, а болезнь и горе изменили ее черты.

Природные наклонности влекли Гортензию к добродетели, но она совершенно не знала света, была чужда той морали, которая применяется к обычаям общества, была чиста и воздержанна только для себя, предана идеальным воззрениям, почерпнутым из сферы, ею же самой созданной. Она не сумела связать свою жизнь с теми общественными условностями, которые не охраняют добродетели женщин, но, будучи строго выполнены, доставляют им поддержку, без которой в свете нельзя обойтись и которую не заменишь спокойной совестью. Ведь среди мужчин недостаточно быть добродетельной, чтобы и казаться добродетельной, надо вести себя согласно правилам, ими же установленным.

Госпожа Луи Бонапарт в борьбе с трудными обстоятельствами всегда оставалась без руководства; она прекрасно понимала свою мать и не решалась довериться ей. Строгая в принципах, созданных ею самой, или, если угодно, в чувствах, созданных ее воображением, она сначала была поражена теми отступлениями от морали, которые открыла у окружавших ее женщин, а затем удивилась еще больше, видя, что эти отступления не всегда были результатами влечений сердца. Ей пришлось зависеть от тирана-мужа, быть безропотной и робкой жертвой постоянных и угрожающих преследований; душа ее омрачилась под тяжестью страданий. Она отдалась им, не смея жаловаться, но если бы ей даже пришлось умереть от них, трудно было бы о них догадаться.

Я видела ее вблизи, знала все ее интимные тайны, и мне она всегда казалась самой чистой и самой несчастной женщиной в мире. Единственным ее утешением была нежная привязанность к брату. Она наслаждалась его счастьем, успехами, его приветливым настроением. Как часто я слышала из ее уст трогательные слова: «Я живу только жизнью Евгения».

Гортензия отказала сыну Ревбея, но этот благоразумный отказ был результатом одного заблуждения: она с ранней юности была уверена в том, что женщина, желающая быть благоразумной и счастливой, должна выйти замуж только за страстно любимого человека. Несколько позднее она противилась желанию матери выдать ее за графа де Мэна, ныне пэра Франции.

Граф де Мэн эмигрировал, но госпожа Бонапарт добилась его возвращения. Он вернул себе свое значительное состояние и просил руки мадемуазель Богарне. Бонапарт, тогда уже Первый консул, был мало склонен к этому браку, но госпожа Бонапарт добилась бы его, если бы не упорное сопротивление дочери. Она услышала, что граф де Мэн был в Германии влюблен в госпожу де Сталь, а эта знаменитая женщина представлялась в воображении молодой девушки каким-то странным чудовищем. Граф де Мэн сделался ей ненавистным и таким образом избежал блестящей судьбы и последовавшего затем грандиозного падения. Действительно, странная игра рока – стать принцем, быть может, даже королем, а затем королем развенчанным.

Несколько позднее в Гортензию влюбился Дюрок, в то время флигель-адъютант консула, который уже отличал его. Это чувство тронуло Гортензию, ей показалось, что она нашла ту половину себя, которую искала. Бонапарт благосклонно отнесся к их браку, но тут была неумолима, в свою очередь, Жозефина. «Необходимо, – говорила она, – чтобы дочь моя вышла или за дворянина, или за Бонапарта».

Тогда подумали о Луи. Он несколько не был пленен Гортензией, терпеть не мог всех Богарне и совершенно презирал свою невесту. Но он был молчалив, – его сочли мягким; он казался строгим, – не сомневались в его честности. Госпожа Луи Бонапарт говорила мне, что при известии об этой комбинации она испытала сильное горе: ей не только запрещали думать о любимом человеке, но ее отдавали за другого, к кому она чувствовала тайное недоверие. Однако этот брак удовлетворял ее мать: он должен был скрепить семейные узы, он мог послужить к возвышению ее брата. И Гортензия покорилась как безропотная жертва, и даже сделала

еще большее. Ее воображение было настроено на те обязанности, которые она себе предназначала, так же, как и самые мельчайшие жертвы по отношению к мужу, которого она, к несчастью, не могла любить. Прямая, но слишком сдержанная, чтобы выражать чувства, которых не испытывала, она была кротка, послушна, уступчива, стараясь понравиться ему, может быть, больше, чем если бы любила его.

Луи Бонапарт, фальшивый и подозрительный, принял внимание жены за упражнение в кокетстве. «Она сначала упражняется надо мной, чтобы обманывать меня», – говорил он. Луи думал, что подобное поведение, которому жена следовала с преувеличенной добродетелью и преданностью, было результатом руководства ее опытной матери. Он отверг внимание, которое ему хотели оказать, и нередко бывал жесток и пренебрежителен. Даже более того: он позволил себе просветить Гортензию насчет слабостей, приписываемых ее матери. Доведя этот рассказ до крайних пределов, он объяснил, что не желает никакой откровенности между своей женой и подобной матерью, и добавил: «Теперь вы носите фамилию Бонапарт; наши интересы должны быть вашими, интересы вашей семьи вас больше не касаются». Это заявление сопровождалось оскорбительными угрозами, опирающимися на презрение к женщинам. Луи заявил, что примет все меры, чтобы «избежать общей судьбы всех мужей», и уверил, что не сделается жертвой ни попыток ускользнуть от него, ни хитростей притворной нежности с целью победить его.

Можно представить себе эффект, который произвела подобная речь на молодую женщину, проникнутую иллюзиями, разочарованную, помимо воли, относительно своей матери. Но Гортензия и тут показала себя покорной супругой, и в течение долгих лет только грусть и угасавшее здоровье выдавали ее страдания. Супруг ее, сухой и капризный человек, эгоистичный, как все Бонапарты, страдавший тяжелой и острой болезнью, которая со времени Египта омрачила его юность¹⁸, не ставил никаких пределов своим требованиям. Так как он боялся брата и ему хотелось вместе с тем держать свою жену вдали от Сен-Клу, он требовал, чтобы она исполняла его волю – показывалась там очень редко и никогда не ночевала, несмотря на настояние матери.

Госпожа Луи Бонапарт ожидала ребенка вскоре после свадьбы. Бонапарты, и особенно госпожа Мюрат¹⁹, смотрели на этот брак с досадой, так как Жозеф имел только дочерей, и они предвидели, что первый сын Луи, внук госпожи Бонапарт, будет предметом большого внимания. Поэтому они распространили оскорбительный слух, что эта беременность была результатом связи Первого консула с падчерицей, связи, будто бы поощряемой самой матерью. Публика охотно подхватила это подозрение. Госпожа Мюрат рассказала об этом Луи, и тот, поверив или нет, воспользовался слухом для того, чтобы увеличить и оправдать свой надзор.

Рассказ о его тирании по отношению к жене слишком далеко заведет меня, я возвращусь к нему позднее. Шпионство, предписанное лакеям, распечатывание всех писем, запрещение какой бы то ни было близости, ревность по отношению к самому Евгению, бесконечные сцены – все было применено. Первый консул легко заметил этот разлад, но ему было приятно молчание Гортензии, которое доставляло удобный случай не вмешиваться в их дела. Он, не уважавший женщин, всегда подчеркивал свое уважение к Гортензии, а способ говорить о ней и поступать по отношению к ней опровергал вполне определенно обвинения, предметом которых ее делали. В ее присутствии его слова всегда были умеренны и приличны. Часто он делал ее судьей между собой и женой и принимал от нее наставления, которых не стал бы терпеливо выслушивать от другой. «Гортензия, – говаривал он порой, – заставляет меня верить в добродетель».

¹⁸ Предполагается, что именно вследствие перенесенного в молодости венерического заболевания Луи страдал тяжелой формой артрита и с трудом владел руками и ногами.

¹⁹ Мюрат был женат на Каролине Бонапарт, самой младшей из сестер Наполеона.

Книга первая

Глава I 1802–1803 годы

Семейные подробности – Мой первый вечер в Сен-Клу – Генерал Моро – Ремюза назначен префектом дворца, я становлюсь придворной дамой – Привычки Первого консула и госпожи Бонапарт – Талейран – Семья Первого консула – Госпожа Жорж и госпожа Дюшенуа – Ревность госпожи Бонапарт

Несмотря на то, что я начинаю этот рассказ в 1818 году, я не буду искать извинений для мотивов, которые привели моего мужа к Бонапарту, нет, я просто их объясню. В политике оправдания ничего не стоят. Некоторые лица, возвратившиеся только три года назад или начавшие принимать участие в политике только с этих пор, разразились чем-то вроде анафемы по отношению к тем из наших сограждан, кто в течение всех последних двадцати лет не держались вдали от событий. Когда им говорят, что не судят о том, были ли они правы или виноваты в своем продолжительном сне, и когда их просят оставаться беспристрастными в подобном же вопросе, они отвергают это соглашение со всей силой преимуществ, какие дает им их настоящее положение; они порицают без всякого великодушия, так как теперь нет никакого риска в том, чтобы толковать об обязанностях и долге.

Однако кто может в эпоху революции похвалиться тем, что всегда шел правильным путем? Кто из нас не должен отнести на долю обстоятельств часть своих поступков?

Кто, наконец, решится бросить первый камень, не боясь, что он упадет обратно на голову того, кто его бросил? Все люди в стране более или менее затронуты ударами, которыми они поражают друг друга, а им бы следовало лучше щадить друг друга, так как они, в сущности, солидарнее, чем им это кажется; и когда один француз без милосердия преследует другого, пусть он остерегается, – почти всегда он дает этим в руки иностранца оружие против обоих.

К тому же в эпоху переворотов немалым злом является горькая критика, одушевленная партийным духом, которая вызывает неизбежное недоверие, а может быть, и презрение к тому, что называется общественным мнением. Столкновения страстей позволяют тогда каждому пренебрегать им. Между тем люди по большей части до такой степени мало живут внутренней жизнью, что у них очень редки случаи обращения к своей совести. В спокойные эпохи для обыкновенных и повседневных поступков совесть довольно удачно заменяется общественным мнением; но каков же способ подчиняться ему, когда оно постоянно способно осудить тебя на смерть? Самый правильный способ – считаться только с совестью, которой нельзя никогда безнаказанно пренебрегать. Совесть моя и моего мужа ни в чем не упрекает нас.

Полная потеря состояния, опыт, сам ход событий, умеренное и законное желание благополучия привели Ремюза к тому, что в 1802 году он искал какого бы то ни было места. В то время наслаждаться отдыхом, какой доставил Франции Бонапарт, верить надеждам, какие позволял он питать, – значило, конечно, ошибаться, но ошибаться вместе со всеми. Верность предвидения – удел очень немногих. А если бы Бонапарт, после своей вторичной женитьбы, сохранил мир и употребил часть армии для защиты границ, кто осмелился бы сомневаться в прочности его могущества и в силе его прав? Бонапарт правил Францией по ее собственному согласию. Это факт, который могут отрицать в наши дни только слепая ненависть и наивная гордость. Он правил для нашего несчастья, но и для нашей славы. Соединение этих двух слов

более естественно в известном состоянии общества, чем это думают, по крайней мере, когда речь идет о военной славе.

Когда он достиг консульства, все вздохнули свободно. Сначала он овладел доверием; мало-помалу явились причины для беспокойства, но люди были уже связаны. Наконец, он заставил содрогаться великодушных людей, которые в него верили, и мало-помалу довел истинных граждан до того, что они желали его падения, даже с риском ущерба лично для себя. Вот наша история, моя и господина Ремюза; и в ней нет ничего унижительного.

Никто никогда не узнает, как я страдала в последние годы тирании Бонапарта. Нет никакой возможности изобразить, с каким беспристрастным доверием я желала возвращения короля, который, в моем воображении, должен был вернуть нам покой и свободу. Я предчувствовала все мои личные невзгоды, Ремюза предвидел это еще лучше, чем я; нашими желаниями мы разрушали будущее наших детей, но это будущее, которому надо было принести в жертву благороднейшие чувства, не вызывало у нас жалоб: страдания Франции в то время слишком громко говорили за себя, – позор тем, кто их не слышал!

Как бы там ни было, мы служили Бонапарту, мы даже любили его и восхищались им, из гордости или из ослепления, – мне не трудно признаться в этом. Мне кажется, что никогда не тяжело признаться в истинном чувстве. Я не стыжусь своих тогдашних взглядов, которые противопоставляют взглядам другого времени. Мой ум не таков, чтобы никогда не ошибаться, я знаю: то, что я чувствовала, я чувствовала всегда искренно; этого мне достаточно перед Богом, перед моим сыном, перед друзьями, перед самой собой.

Однако теперь я ставлю себе довольно трудную задачу, потому что должна вернуться после множества сильных и живых впечатлений к той эпохе, когда я их получила; эти впечатления, подобно памятникам, которые находят в полях разбитыми и разрушенными пожаром, не имеют уже ни базы, ни общей связи. В самом деле, что можно представить себе более опустошенного, чем живое изображение в столкновениях с глубокими волнениями, ставшими вдруг совершенно чуждыми? Конечно, было бы благоразумней и особенно удобней присутствовать при событиях только с холодным любопытством; кто не волнуется, тот всегда готов ко всяким переменам. Но никто по собственной воле не может уклониться от страданий. Всякий волен отвернуться, но нельзя не отметить, что взгляд оказался затронут тем, на что пришлось обратить его вследствие стольких непредвиденных обстоятельств.

То, что я наблюдала в течение двадцати лет, убедило меня в одном: из всех человеческих слабостей эгоизм руководит поведением с наибольшим благоразумием. Он нисколько не поражает общество, способное примириться с тем, что ровно и тускло; он всегда предвидит несогласованность поступков; он довольно легко может прикрываться внешней разумностью для тех, кто видит, как он действует. Однако какое благородное сердце согласилось бы купить свой покой такой ценой? Нет-нет, лучше рисковать быть сильно затронутым, даже потрясенным во всем своем существе. Нужно примириться со случайными суждениями, которые произносятся людьми мимоходом. Какое утешение в словах, которые нужно стараться повторять себе беспрестанно: «Если меня ввели в заблуждение увлекательные ошибки, по крайней мере мной не руководили мои собственные интересы, и если я желал счастья, то только такого, какое не стоило бы ни одного вздоха моей родине».

Начиная эти мемуары, я опишу, насколько возможно коротко, все то, что касалось нас лично до нашего появления при дворе Первого консула. Впоследствии, может быть, мне придется вернуться подробнее к моим впечатлениям. Нельзя ожидать от женщины рассказа о политической жизни Бонапарта. Если он казался таинственным для всех, кто его окружал, таинственным до такой степени, что часто в самых интимных покоях дворца не знали того, о чем узнавали, возвратясь в Париж, то тем более я, столь молодая в течение первых лет жизни в Сен-Клу, могла понять только разрозненные факты – через долгие промежутки времени. Я

расскажу по крайней мере о том, что видела, или, как мне казалось, видела, и не моя вина, если эти рассказы будут не всегда так же верны, как искренни.

Мне было двадцать два года, когда я была назначена придворной дамой госпожи Бонапарт. Выйдя замуж шестнадцати лет, я была счастлива до той поры благодаря спокойной жизни, полной привязанностей. Ужасы революции, смерть моего отца под ударами революционной секиры 1794 года, потеря нашего состояния, склонности моей матери, выдающейся женщины, – все это держало меня вдали от света, который я мало знала и в котором нисколько не нуждалась. Вырванная вдруг из этого мирного одиночества, чтобы быть выброшенной на самую странную арену, и не пройдя школы общества, я была сильно поражена таким резким переходом; на моем характере навсегда отразилось впечатление, какое я получила от этого. Близ горячо любимых мужа и матери я привыкла вполне отдаваться порывам сердца, а позднее, вблизи Бонапарта, я приучилась интересоваться только тем, что меня сильно затрагивало. Вся моя жизнь была и останется навсегда чуждой праздности высшего света.

Мать моя воспитывала меня очень заботливо; образование завершил мой муж, культурный и просвещенный человек, который был старше меня на шестнадцать лет. Я была по натуре серьезна, что всегда соединяется у женщин с некоторой склонностью немного увлекаться. Вместе с тем в первое время моей жизни около госпожи Бонапарт и ее супруга я была одушевлена чувством благодарности. Судя по тому, что о них теперь известно и что я раньше писала об их самой интимной стороне, это значило быть готовой ко многим разочарованиям, и, действительно, их было немало.

Я уже говорила о том, каковы были наши отношения с госпожой Бонапарт во время египетской экспедиции. С этих пор мы ее потеряли из виду до того момента, когда моя мать, желавшая выдать замуж мою сестру за одного из наших родственников, возвратившегося тайно и еще считавшегося в списке эмигрантов, обратилась к ней, чтобы добиться от нее возвращения. Дело было вскоре улажено. Госпожа Бонапарт старалась умелой благожелательностью приблизить к своему супругу лиц известного класса, которые были еще настороже по отношению к нему. Она пригласила мою мать и Ремюза прийти однажды вечером к ней, чтобы лично поблагодарить Первого консула. Было немислимо и думать об отказе.

Итак, однажды вечером мы отправились в Тюильри; это было немногим позже дня, когда Бонапарту показалось необходимым водвориться там [19 февраля 1800 года], того дня, когда, как я это позднее узнала от его жены, он со смехом сказал ей, ложась спать: «Ну, маленькая креолка, иди ложись в постель твоих господ».

Мы нашли Наполеона в большой гостиной в нижнем этаже, – он сидел на диване; около него я увидела генерала Моро, с которым он, по-видимому, вел серьезный разговор. И тот и другой в то время старались жить дружно. Приводили даже очень любезные слова, сказанные Бонапартом в том благожелательном тоне, который был ему мало свойствен. Он заказал пару роскошных пистолетов, на которых золотом были выгравированы все битвы Моро. «Простите, – сказал Бонапарт, подавая их ему, – если они недостаточно украшены: названия ваших побед заняли все свободное место».

В этой гостиной находились министры, генералы, женщины, почти все молодые и красивые: госпожа Луи Бонапарт, госпожа Мюрат, которая только что вышла замуж и показалась мне очаровательной, госпожа Маре²⁰, в то время необыкновенно прекрасная, – она как раз наново сделала свой свадебный визит. Госпожа Бонапарт держалась среди этого кружка с очаровательной грацией, она была изысканно одета, во вкусе, который приближался к античному. Это была мода того времени, когда художники имели довольно большое влияние на обычаи общества.

Первый консул встал, чтобы принять наши приветствия, и после нескольких неопределенных слов снова сел, чтобы больше не заниматься дамами, которые находились в салоне.

²⁰ Мари-Мадлен Маре (урожд. Лежеас), жена Юга Бернара Маре, герцога де Бассано.

Признаюсь, что в этот раз я была менее занята им, чем роскошью и необыкновенным изяществом, которые сразу же бросились мне в глаза.

С этих пор мы имели обыкновение время от времени появляться в Тюильри. Мало-помалу нам внушили идею, что Ремюза может получить какое-нибудь место, которое помогло бы нам вернуть кое-что из утраченного имущества. Ремюза, бывший до революции магистратом, хотел снова получить видное положение. Боязнь огорчить меня, разлучив с матерью и отдалив от Парижа, привела к тому, что он попросил место в Государственном совете, избегая префектур. Но тогда мы не знали хорошо всего того, что составляет правительство.

Мать моя не раз говорила о нашем положении госпоже Бонапарт. Госпожа Бонапарт мало-помалу начала питать ко мне симпатию, у моего мужа она находила приятные манеры и вдруг возымела идею приблизить нас к себе. Почти в то же время моя сестра, которая не вышла замуж за того родственника, о котором я говорила, обвенчалась с Нансути, бригадным генералом, племянником госпожи Монтессон, очень уважаемым в армии и в обществе. Эта свадьба сблизила нас с консульским правительством, а месяц спустя госпожа Бонапарт предупредила мою мать, что надеется на скорое назначение Ремюза префектом дворца. Я обойду молчанием разнообразные волнения, какие вызвало в моей семье это известие. Лично я была очень испугана. Ремюза скорее примирился, чем обрадовался, и, как человек вполне добросовестный, сейчас же после своего назначения занялся всеми мельчайшими деталями своей новой службы.

Немного времени спустя я получила следующее письмо от Дюрока, гофмаршала двора:
«Милостивая государыня.

Первый консул избрал вас для представительства во дворце при госпоже Бонапарт.

Личное знакомство с вашим характером и принципами дает ему уверенность в том, что вы исполните это с обычной вежливостью, которой отличаются французские дамы, и достоинством, которое подобает правительству. Я счастлив, что мне поручено передать вам это выражение его уважения и доверия.

Примите уверения в совершенном почтении».

Таким образом мы оказались при этом странном дворе. Хотя Бонапарт всякий раз обнаруживал гнев, когда осмеливались не верить искренности его слов, которые тогда были вполне республиканскими, однако каждый день он придумывал какие-нибудь новости, которые вскоре придали месту, где он жил, большое сходство с дворцом государя. Личный вкус склонял его к некоторого рода представительству, лишь бы оно не стесняло его привычек, но окружающих он давил игом церемониала. Впрочем, Бонапарт был убежден, что французов можно победить внешним блеском. Очень просто одетый, он требовал от военных большой роскоши в обмундировании. Он уже создал определенное расстояние между собой и двумя другими консулами. В правительственных актах, употребляя выражение «по приговору консулов» и т. п., он помещал только свою подпись; он один содержал двор в Тюильри или в Сен-Клу, принимал послов с церемониями, принятыми у королей, показывался на публике только в сопровождении многочисленной охраны, позволяя при этом своим коллегам иметь только двух гренадеров перед экипажами; и, наконец, Бонапарт начал создавать своей жене положение в государстве.

В первые минуты мы очутились в довольно затруднительной ситуации. Генералы и адъютанты, которые окружали Бонапарта, гордились своей военной славой и правами, которые она давала. Они готовы были поверить, что все отличия должны принадлежать исключительно им.

Между тем консул, ценивший всякого рода победы и имевший тайный план приблизить к себе все классы общества, мало-помалу раздражал этих военных, привлекая к себе милостями представителей других профессий. Притом Ремюза, как человек умный, замечательно образованный, чудесно слушающий и умеющий прекрасно отвечать, превосходящий своих коллег умением вести разговор, был быстро выдвинут своим господином, умеющим открыть в каждом то, что ему было полезно. Бонапарт был не прочь, чтобы за него знали то, чего он сам

не знал. Он нашел у моего мужа знание известных обычаев, которые хотел бы восстановить, верный такт при различных обстоятельствах, привычки хорошего общества. Бонапарт быстро излагал ему свои проекты, Ремюза тотчас же его понимал и так же быстро ему служил. Эта необычная манера нравиться ему сначала вызвала некоторое неудовольствие у военных, они предчувствовали, что не будут больше единственными, кого выделяют, и что от них потребуют, чтобы они отказались от грубой внешности, приобретенной на поле битвы; наше присутствие беспокоило их.

Со своей стороны, несмотря на молодость, я была развитее их жен. Большинство моих подруг, мало знающих общество, робких и молчаливых, в присутствии Первого консула испытывали только скуку и страх. Что касается меня, то, как я уже говорила, будучи оживленной и впечатлительной, легко возбуждаемой новыми идеями, склонной к умственным удовольствиям, я вскоре понравилась моему новому властелину, поскольку стала находить удовольствие слушать его.

Притом госпожа Бонапарт любила меня как женщину, ею избранную; ей льстило, что она достигла по отношению к моей матери, которую уважала, преимущества привязать к себе особу из видной семьи. Она выражала мне доверие. Я была нежно привязана к ней. Вскоре госпожа Бонапарт начала поверять мне свои личные тайны, которые я хранила в полном секрете. Хотя я могла быть по возрасту ее дочерью, я часто была в состоянии дать ей добрый совет, так как привычки уединенной и нравственной жизни рано дают знакомство с ее серьезной стороной.

Мы с мужем тотчас же оказались на виду, и это надо было заставить простить нам. До известной степени мы достигли этого, сохраняя простоту, держась в границах вежливости и избегая всего того, что могло бы заставить думать, будто мы хотим создать из доброго к нам отношения возможность влияния.

Ремюза жил среди этого ошетинившегося двора с простотой и добродушием. Что же касается меня, то я была достаточно счастлива, чтобы отнестись к себе справедливо и не выражать претензий, которые особенно задевают женщин. Большинство моих подруг были красивее меня, некоторые – очень красивы; они были окружены большой роскошью. Мое лицо, которое только молодость делала приятным, обычная простота моего костюма предупредили их о том, что они имеют надо мной преимущество во многих отношениях. Вскоре между нами как будто установилось нечто вроде безмолвного соглашения: они будут очаровывать взоры Первого консула, когда мы окажемся в его присутствии, а я постараюсь нравиться его уму, поскольку у меня самой его хватит. И я уже говорила, что в этом отношении дело было только в том, чтобы уметь его слушать.

Молодая женщина двадцати двух лет не может быть особенно проникнута политическими идеями. В то время у меня не было ни малейшего партийного духа. Я не рассуждала о том, имеет ли Бонапарт больше или меньше прав на власть, когда повсюду говорили, что он достойно ее применяет. Ремюза, вверяясь ему почти со всей Францией, отдавался надеждам, которые тогда возможно было питать. Каждый, кто чувствовал негодование и отвращение к ужасам революции, охотно верил, что правительство предохранит нас от реакции якобинцев, и приветствовал его установление как новую эру для родины. Те применения свободы, к которым прибегали неоднократно, внушили по отношению к ней нечто похожее на отвращение, естественное, но малообоснованное, так как, говоря по правде, свобода всегда исчезала, как только злоупотребляли ее именем, чтобы только разнообразить способы тирании. Но, в общем, во Франции желали только покоя и возможности свободно упражнять ум, развивать некоторые частные добродетели и поправить мало-помалу перенесенные потери состояний.

Я не могу без стеснения сердца подумать об иллюзиях, которые тогда переживала. Я сожалею о них, как сожалеют о светлых грезах жизненной весны, той поры, когда, по выражению самого Бонапарта, на все предметы смотришь сквозь золотистую дымку, которая и делает их блестящими и легкими. Мало-помалу, говорил он, эта дымка сгущается до того, что стано-

вится почти совсем черной. Увы! Он сам не замедлил сделать кровавой ту вуаль, сквозь которую Франция любила смотреть на него.

Итак, осенью 1802 года я появилась в Сен-Клу, где находился тогда Первый консул. Все мы, четыре дамы²¹, поочередно проводили одну неделю близ госпожи Бонапарт. Так же организована была и служба префектов дворца, генералов гвардии, лейтенантов. Гофмаршал двора Дюрок жил в Сен-Клу; он содержал дворец в необыкновенном порядке; мы обедали у него. Консул обедал один со своей женой; два раза в неделю он приглашал членов правительства; раз в месяц в Тюильри происходили званые обеды на сто персон, которые давали в зале Дианы; после них принимали всех, кто занимал место сколько-нибудь выдающееся в военной или гражданской службе, а также выдающихся иностранцев.

В течение зимы 1803 года мы были в мирных отношениях с Англией, и это привлекло в Париж большое количество англичан. Так как их нечасто там видели, они возбуждали всеобщее любопытство.

На этих блестящих собраниях демонстрировалась необыкновенная роскошь. Первый консул любил, чтобы дамы были хорошо одеты, и из расчета или из личного вкуса побуждал к этому свою жену и сестер. Госпожа Бонапарт, госпожа Баччиокки²² и госпожа Мюрат (госпожа Леклерк жила в это время в Сан-Доминго²³) были ослепительны. Различные униформы давались различным полкам, мундиры были богаты; и вся эта пышность, последовавшая за временами, когда выставление напоказ отвратительной грязи соединялось с аффектацией гражданской добродетели, эта пышность казалась еще одной гарантией против возвращения пагубного режима, о котором не забыли.

Мне кажется, что костюм Первого консула в ту эпоху достоин описания. В обыкновенные дни он носил один из мундиров своей гвардии; но для него и для обоих его коллег было установлено, что во время больших церемоний они все трое надевают красные костюмы, вышитые золотом, зимой из бархата, летом из легких тканей. Оба консула, Камбасерес и Лебрен, пожилые, в париках, со строгими манерами, носили эти блестящие одежды с кружевами и шпагами, как прежде носили обыкновенные костюмы. Бонапарт, которого этот наряд стеснял, старался как можно чаще избегать его. Волосы у него были остриженные, короткие, прямые и довольно плохо причесанные. При этом костюме, красном с золотом, он сохранял черный галстук, кружевное жабо на рубашке, иногда белый жилет, вышитый серебром, чаще форменный жилет, форменную шпагу, а также панталоны, шелковые чулки и сапоги. Этот костюм и его маленький рост придавали ему очень странный вид, над которым, однако, никто не осмеливался смеяться. Когда Бонапарт стал императором, ему сделали костюм для церемоний, с маленькой мантией и шляпой с перьями, который ему шел чрезвычайно. Император присоединил к нему великолепную цепь ордена Почетного легиона, усыпанную бриллиантами, а в обыкновенные дни продолжал носить только серебряный крест.

Я вспоминаю, что накануне его коронавания новые маршалы, которых он назначил за несколько месяцев до этого, явились к нему на прием, одетые в прекрасные костюмы. Эти костюмы, выставленные напоказ, в противоположность простому мундиру, который был на Наполеоне, заставили его улыбнуться. Я находилась в нескольких шагах от него, и он, так как видел, что я тоже улыбаюсь, сказал: «Право быть просто одетым не принадлежит всем». Несколько минут спустя маршалы армии заспорили об установлении старшинства и попросили императора определить порядок их рангов в церемонии. В сущности, их претензии опирались на довольно громкие титулы, так как каждый из них перечислял свои победы. Бонапарт слушал

²¹ Госпожа де Талуэ, де Люрсе, де Лористон и я.

²² Элиза Бонапарт (1777–1820) – в замужестве Баччиокки, великая герцогиня Тосканская, княгиня Луккская и Пьемонтская, старшая из сестер Наполеона.

²³ Полина Бонапарт (1780–1825) – средняя и самая любимая сестра Наполеона. В Сан-Доминго ее мужа, генерала Леклерка, отправили в 1802 году на подавление Гаитянской революции.

их, и его забавляло встречать мои взгляды. «Мне кажется, – сказала я ему, – что вы сегодня как будто топнули ногой на Францию, говоря: «Пусть все тщеславия выйдут из-под земли!» – «Это правда, – отвечал он, – но дело в том, что очень удобно управлять французами посредством тщеславия»²⁴.

Но вернемся назад. В первые месяцы моего пребывания частью в Сен-Клу, частью в Париже, в течение всей зимы, жизнь казалась мне довольно приятной. Дни проходили в правильном порядке. Утром, около восьми часов, Бонапарт покидал постель жены, чтобы пройти в свой кабинет; в Париже он возвращался к ней, чтобы позавтракать; в Сен-Клу он завтракал один и часто на террасе, которая примыкала к этому кабинету. Во время этого завтрака он принимал артистов, актеров комедии; тогда Первый консул разговаривал охотно и добродушно. Потом он до шести часов занимался общественными делами. Госпожа Бонапарт оставалась у себя, принимая в течение всего утра бесконечное количество визитеров, особенно женщин: тех, мужья которых были связаны с правительством, или тех, которые называли себя дамами старого порядка, не хотели поддерживать отношения (или делали вид, что не хотят) с Первым консулом, но добивались от его жены возвращения или восстановления прав. Госпожа Бонапарт всех принимала с очаровательной любезностью; она все обещала и отпускала всех удовлетворенными. Поданные петиции время от времени терялись, но ей подавали другие, и она, казалось, никогда не уставала всех выслушивать.

В шесть часов в Париже обедали; в Сен-Клу совершали прогулку: консул – в коляске со своей женой, мы – в других экипажах. Братья Бонапарта, Евгений Богарне, его сестры могли появиться во время обеда. Иногда приезжала госпожа Луи Бонапарт, но она никогда не ночевала в Сен-Клу. Ревность мужа и его необыкновенное недоверие делали ее робкой и довольно печальной уже в то время. Раза два в неделю присылали маленького Наполеона, того, который умер позднее в Голландии²⁵. Бонапарт, казалось, любил этого ребенка и связывал с ним надежды на будущее. Может быть, только из-за этого он и отличал его. Талейран рассказывал мне, что, когда известие о его смерти пришло в Берлин, Бонапарт был так мало тронут, что готов был показаться публично, но Талейран поспешил сказать ему: «Вы забываете, что в вашей семье случилось несчастье и вы должны иметь несколько печальный вид». – «Я не нахожу удовольствия в том, чтобы думать о мертвых», – отвечал ему Бонапарт²⁶.

²⁴ Отец мой, родившийся в 1797 году, был совсем ребенком в эпоху, описываемую в этих мемуарах. Он сохранил, однако, очень точное воспоминание об одном визите, который его мать заставила его сделать во дворец, и вот как он о нем рассказывал: «По воскресеньям меня водили иногда в Тюильри, чтобы я мог видеть из окна в комнате прислуги смотр войска. Большая гравюра Изабе дает точное представление о том, что было особенно любопытного в этом зрелище. Однажды после парада мать моя пришла за мной (кажется, она провожала госпожу Бонапарт до дверей Тюильри) и взойшла со мной на лестницу, наполненную военными, которых я рассматривал не спуская глаз. Один из них заговорил с ней. «Кто это такой?» – спросил я, когда он прошел. Это был Луи Бонапарт. Потом я увидел молодого человека в очень известной форме флигельмана (флангового солдата). Что касается этого, то мне не нужно было спрашивать его имя: дети того времени различали значки чинов и корпусов армии, а кто не знал, что Евгений Богарне был полковником флигельманов? Наконец мы дошли до салона госпожи Бонапарт. Там находились только она, одна или две дамы и мой отец в красном костюме, вышитом серебром. Меня поцеловали, вероятно, нашли, что я вырос, и больше мной не занимались. Вскоре вошел офицер из консульской гвардии. Он был маленького роста, худ, держался плохо, или, по крайней мере, небрежно (не стеснясь). Я был достаточно приучен к этикету, чтобы найти, что он много двигается и поступает бесцеремонно. Между прочим я был поражен, видя, что он уселся на ручку кресла и оттуда, издали, говорил с моей матерью. Мы были как раз напротив него, и я заметил его исхудалое лицо, почти истощенное, с оттенком желтоватым и бурым. Вдруг он взял меня за оба уха и потянул довольно сильно. Он сделал мне больно, и, если бы это было не во дворце, я закричал бы. Потом, обращаясь к моему отцу, он спросил: «Учит ли он математику?» Вскоре меня увели. «Кто же этот военный?» – спросил я свою мать. – «Это Первый консул!» Таков дебют моего отца в жизни придворного. Впрочем, он видел императора еще только один раз при подобных же обстоятельствах, будучи ребенком (*П.Р.*).

²⁵ Речь идет о маленьком Наполеоне Шарле Бонапарте (1802–1807) – старшем сыне Гортензии Богарне и Луи Наполеона; это был любимец Наполеона, который не раз выражал желание усыновить ребенка, много играл с ним и был к нему искренне привязан.

²⁶ Вот письма, которые писал император по поводу смерти этого ребенка в мае 1807 года. Он был в Финке штейне и писал императрице Жозефине: «Я понимаю все горе, какое должна тебе причинить смерть бедного Наполеона; ты можешь понять мое огорчение. Я хотел бы быть около тебя, чтобы ты была сдержанна и благоразумна в своем горе. Ты счастлива тем, что никогда не теряла детей; но это одно из условий и одно из страданий, связанных с нашими человеческими несчастьями. Как

Было бы любопытно сопоставить эти слова с прекрасной речью Фонтана²⁷, которому было поручено говорить над прусскими знаменами, торжественно принесенными в Дом Инвалидов. Он так хорошо, так красноречиво напомнил о величественной скорби победителя, который забывает блеск своих побед, проливая слезы о смерти ребенка!

После обеда консула нас предупреждали, что мы можем подняться наверх. В зависимости от того, был ли он в хорошем или дурном настроении, разговор затягивался, продолжался более или менее долго. Затем консул исчезал, и обыкновенно его больше не видели. Он возвращался к работе, давал несколько частных аудиенций, принимая некоторых министров, и обыкновенно рано ложился спать. Госпожа Бонапарт играла, чтобы закончить вечер. Между десятью и одиннадцатью часами ей говорили: «Мадам, Первый консул в постели», – и тогда она нас покидала.

У нее и повсюду вокруг них царило полное молчание по поводу политических дел. Дюрок, Маре, тогда государственный секретарь, частные секретари были совершенно неприкосновенны. Большинство военных, как мне кажется, чтобы избежать разговоров, воздерживались даже от того, чтобы думать; в общем, в привычках этой жизни не на что было тратить ум.

Так как я прибыла ко двору, будучи совершенно незнакомой с большими и маленькими страхами, которые Бонапарт внушал тем, кто давно его знал, то не испытывала перед ним такого стеснения, как другие. Мне не казалось нужным подчиняться системе односложных фраз, которая была принята всеми в доме религиозно, если можно так выразиться, а может быть, в достаточной мере осторожно. Однако это повело к тому, что я приобрела смешной вид, о котором сначала не подозревала, но который надо было под конец уже скрывать. Дальше будет видно, что это не так легко было сделать.

Однажды вечером, когда Бонапарт говорил о таланте Порталиса-отца, работавшего тогда над Гражданским кодексом, Ремюза сказал, что Порталиса особенно развило изучение Монтескье, которого он читал и изучал как катехизис. Первый консул, обращаясь к одной из моих подруг, заметил, смеясь: «Держу пари, что вы даже не знаете, кто такой Монтескье!» – «Простите, – отвечала она, – кто не читал «Le Temple de Grade»...»²⁸ – При этих словах Бонапарт громко расхохотался, и я не могла удержаться от улыбки. Он взглянул на меня и спросил: «А вы, сударыня?» Я отвечала, естественно, что не знаю ничего о «Temple de Gnide», что читала «Рассуждение» о римлянах, но думаю, что ни тот ни другой труд не были катехизисом, о котором говорил Ремюза. «Черт побери! – сказал мне Бонапарт. – Да вы ученая!» Этот эпитет сконфузил меня, и я почувствовала, что рискую сохранить его за собой.

Минуту спустя госпожа Бонапарт заговорила о какой-то трагедии, которую тогда давали. Первый консул припомнил по этому поводу современных авторов и заговорил о Дюси, которого недолюбливал. Сначала Бонапарт огорчился, что наши поэты-трагики так посредственны, а потом прибавил, что больше всего на свете желал бы вознаградить автора прекрасной трагедии. Я решила сказать, что Дюси испортил «Отелло» Шекспира²⁹. Это длинное английское имя в моих устах произвело известный эффект на нашу галерею из эполет, молчаливую и внимательную. Бонапарту не очень нравилось, когда хвалили что-нибудь, принадлежащее англича-

бы я хотел узнать, что ты была благоразумна и что ты хорошо себя чувствуешь! Хотела ли бы ты усилить мое огорчение? До свидания, друг мой». Несколько дней спустя, 20 мая, он писал голландской королеве: «Дочь моя, все, что я узнаю из Гааги, заставляет меня думать, что вы неблагоразумны. Как ни законно ваше горе, оно должно иметь пределы. Не губите вашего здоровья, развлекайтесь и знайте, что жизнь усеяна такими подводными камнями и может быть причиной таких страданий, что смерть еще не самое большое из них». В тот же день он писал Фуше: «Потеря маленького Наполеона для меня очень чувствительна. Я бы хотел, чтобы его отец и мать получили от природы столько же мужества, как и я, чтобы уметь переносить все страдания в жизни. Но они моложе меня и менее могли размышлять о непрочности всего в здешнем мире».

²⁷ Луи Марселей де Фонтан (1757–1821) – французский поэт и политический деятель.

²⁸ «Le Temple de Gnide» («Книдский храм») – одно из малоизвестных сочинений Монтескье, стилизованная поэма в прозе.

²⁹ Дюси задался мыслью ввести Шекспира на французскую сцену и с этой целью переделал «Гамлета», «Отелло», «Ромео и Джульетту» и «Короля Лира», руководствуясь переводами Лапласа и Летурнера (сам он не знал английского языка).

нам. Мы немного поговорили: со своей стороны, я держалась в разговоре направления вполне обычного, но я назвала Шекспира, я возражала консулу, я хвалила английского автора, – какая дерзость! Какое чудо учености! И я была вынуждена несколько дней после этого молчать или вести ничего не значащие разговоры, чтобы исправить впечатление от превосходства, которое, между тем, так скоро причинит мне затруднение.

Когда я покидала дворец и возвращалась к своей матери, то довольно часто встречала там немало милых женщин и выдающихся людей, которые вели очень интересные разговоры, и я улыбалась про себя, сравнивая эти отношения с теми, которые были при дворе.

Но эта привычка к почти полному молчанию предостерегала нас, по крайней мере в ту эпоху, от того, что называют в свете сплетнями. Женщины совершенно не были кокетливы, мужчины были постоянно заняты исполнением своих обязанностей, а я обманывалась относительно нравственных привычек Бонапарта, которые я у него предполагала. Казалось, он очень любит свою жену; казалось, она его удовлетворяла. Однако вскоре я заметила в ней беспокойство, которое меня удивило. Она была очень склонна к ревности. Мне думается, что не любовь была тут главной причиной. Для нее была большим несчастьем невозможность дать своему супругу детей; иногда он выражал по этому поводу сожаление, и тогда она дрожала за свое будущее. Семья консула, всегда возбужденная против Богарне, подчеркивала это обстоятельство. Все это вызывало мимолетные бури. Иногда я заставляла госпожу Бонапарт в слезах, и тогда она изливала горькие жалобы на своих деверей, на госпожу Мюрат и Мюрата, которые старались упрочить свое влияние, возбуждая у консула мимолетные фантазии. Я уговаривала госпожу Бонапарт оставаться спокойной и благоразумной.

Мне вскоре стало ясно, что если Бонапарт любил свою жену, то особенно потому, что ее обычная кротость давала ему покой, и она явно теряла свое влияние, волнуя его. В конце концов, в течение первого года, что я была при дворе, легкие столкновения в этой семье всегда заканчивались удовлетворительными объяснениями и усилившейся близостью.

С 1802 года я никогда не видела генерала Моро у Бонапарта – они были уже почти в ссоре. Жена и теща Моро слыли большими интриганками, а Бонапарт не выносил склонности к интригам у женщин. Притом, однажды мать госпожи Моро в Мальмезоне позволила себе неприятные шутки относительно скандальной близости, которую подозревали между Бонапартом и его юной сестрой Каролиной (к тому же она только что вышла замуж). Консул не простил подобных разговоров и подчеркнул свое дурное отношение к матери и дочери. Моро пожаловался, что они стараются возбудить в нем недовольство своим положением. Он жил уединенно, в кругу, который ежедневно раздражал его, и Мюрат, глава тайной и деятельной полиции, выслеживал недовольство, которому не следовало придавать значения, и постоянно приносил в Тюильри недоброжелательные донесения.

Большой ошибкой Бонапарта и следствием его естественного недоверия было усиление полиции в государстве. Бонапарт думал придать себе ореол либерализма и умеренности, упраздняя министерство полиции (изобретение совершенно революционное). Однако вскоре раскаялся в этом и заменил одно министерство множеством шпионов. Префект полиции, Мюрат, Дюрок, Савари, тогда командовавший избранной жандармерией, Маре, также имевший тайную полицию, и другие, которых я не знаю, сделались как бы отголосками упраздненного министерства. Все эти полиция выслеживали одна другую, доносили друг на друга, старались сделаться необходимыми консулу и постоянно окружали его подозрениями. Со времени происшествия с адской машиной, которым Талейран воспользовался, чтобы сместить Фуше, полиция была передана в руки верховного судьи Ренье. Сам Фуше, прекрасно владея искусством делаться необходимым, не замедлил тайно войти в милость к Первому консулу и добиться того, что его назначили вторично.

С этих пор Камбасерес и Лебрен, второй и третий консулы, мало принимали участия в управлении. Лебрен, уже пожилой человек, не беспокоил Бонапарта ни с какой стороны. Дру-

гой, выдающийся магистрат, человек очень полезный в вопросах, касающихся Государственного совета, вмешивался только в обсуждение законов. Бонапарт извлекал пользу из его познаний и, с целью ослабить его значение, благоразумно полагался на смешные стороны характера, которые создавало Камбасересу его мелочное тщеславие. В самом деле, консул, очарованный оказанными ему отличиями, наслаждался ими с наивностью, которую хвалили, насмехаясь. Так его слабость – самолюбие – в некотором отношении упрочивала его положение.

В то время, о котором я говорю, большим влиянием пользовался Талейран. Все вопросы высшей политики проходили через его руки. Он не только регулировал внешние дела и определял новые конституции, но, кроме того, ежедневно имел с Бонапартом продолжительные беседы и толкал его на все меры, которые могли придать ему силу как реформатору. С этих пор, я уверена, часто между ними шла речь о том, что следует делать, чтобы восстановить монархическое правительство. Талейран всегда имел внутреннее убеждение, что только оно подходит для Франции. Он хотел вернуться к обычным привычкам своей жизни, вновь перейти на знакомую почву. Преимущества и потери, которые зависят от двора, открывали ему возможность власти и влияния.

Я не знала Талейрана, а то, что слышала о нем, создавало большое предубеждение. Но я была поражена изяществом его манер, которые представляли резкий контраст с чопорностью военных, окружавших меня до тех пор. Он всегда сохранял среди них тон большого вельможи; щеголял пренебрежительным молчанием и покровительственной вежливостью, которой никто не мог избежать. Он один присваивал себе право подсмеиваться над людьми, которых пугала тонкость его насмешек.

Талейран, менее искренний, чем кто бы то ни было, сумел придать характер естественности привычкам, приобретенным по определенному плану. Он сохранил их так, как если бы они имели силу истинной природы. Его манера относиться к самым важным вещам довольно легко почти всегда бывала полезна ему.

Несколько лет я не имела с ним никаких отношений; я смутно не доверяла ему, но мне нравилось слушать его и видеть, как он поступает с присущей ему непринужденностью, которая придавала безграничную грацию всем его манерам, тогда как у другого она шокировала бы как аффектация.

Зима этого года (1803-го) была блестяща. Первый консул желал, чтобы устраивали праздники, он также захотел заняться реставрацией театров и поручил управление ими префектам своего двора. «Комеди Франсез» была поручена Ремюза; снова поставили на сцене массу произведений, которые были устранены республиканской политикой.

Мало-помалу, казалось, возвращались ко всем привычкам общественной жизни. Это был ловкий способ привлечь к ней снова всех тех, кто ее хорошо знал. Это значило возобновить связи между образованными людьми. Вся эта система была проведена очень ловко. Оппозиционные воззрения слабели с каждым днем. Роялисты, замыслы которых были разрушены 18-го фрюктидора, не теряли надежды, что Бонапарт восстановит порядок, который заключался в возвращении всего старого, до Бурбонов включительно. И если они ошиблись по этому пункту, то по крайней мере они были признательны ему за порядок, который он восстановил, и не боялись составить смелый проект: захватить Наполеона и таким образом оставить незанятым место, которое никто, кроме него, не мог бы с тех пор занять; и все это легко докажет, что самым естественным его преемником должен быть законный правитель.

Эта тайная мысль партии, обыкновенно доверчивой по отношению к тому, на что надеется, и всегда неосторожной в том, на что решается, привела к возобновлению тайной переписки с нашими принцами, к некоторым попыткам эмигрантов организовать заговор, волнениям у вандейцев, которые Бонапарт молчаливо наблюдал.

С другой стороны, люди, стоящие за федеративное правительство, с беспокойством видели, что консульское правительство склоняется к централизации, которая мало-помалу

ведет, монархии. Они довольно хорошо соединялись с тем небольшим числом лиц, которые, несмотря на все ошибки и заблуждения французской революции, в глубине своей совести видели в ней полезную встряску и боялись, как бы Бонапарт не дошел до того, чтобы парализовать ее влияние. Иногда в Трибунате раздавались по этому поводу некоторые речи, которые доказывали, что тайные проекты Бонапарта имели и других противников, кроме роялистов.

Наконец, были еще явные якобинцы, с которыми надо было считаться, и военные, твердо стоящие на своих претензиях: они только удивлялись, как можно было создавать или признавать другие права, кроме их собственных.

Обо всех волнениях этих партий и доносили Бонапарту, который осторожно маневрировал среди них. Он медленно шел к своей цели, которую мало кто тогда угадывал, привлекая общее внимание к одной стороне своей политики, которая в общем оставалась неопределенной. Бонапарт отлично умел по собственному желанию привлекать или отвлекать внимание, возбуждать попеременно одобрение одной или другой стороны, беспокоить или успокаивать в зависимости от того, как ему было нужно, пользоваться удивлением или надеждой. Он видел во французах изменчивых детей, которых можно отвлечь от их интересов новой игрушкой. Его положение первого консула было ему выгодно, потому что как ни было оно неопределенно, но все же ослабляло беспокойство в обществе. Позднее вполне определенное положение императора отняло у него это преимущество; и тогда, открыв Франции свою тайну и желая отвлечь ее от полученного впечатления, ему не оставалось ничего другого, как бросить ей эту роковую приманку – военную славу. Отсюда и его постоянно возобновляющиеся войны, отсюда эти бесконечные победы: он чувствовал потребность занять нас какой бы то ни было ценой. И отсюда же, если пожелают хорошенько взглянуть, необходимость направить свою судьбу, отказываться от мира в Дрездене и даже в Шатильоне. Бонапарт прекрасно чувствовал, что погиб бы безвозвратно с того дня, когда его вынужденный отдых позволил бы нам размышлять о нем и о нас самих.

В газете «Монитор» конца 1802-го или начала 1803 года напечатан диалог между французом, относящимся с энтузиазмом к английской конституции, и англичанином, так сказать, благоразумным, который, показав, что в Англии, собственно говоря, нет конституции, а только учреждения, более или менее подходящие к положению страны и характеру жителей, стремится доказать, что эти учреждения могли бы быть даны французам только со значительными неудобствами. Такими способами и им подобными Бонапарт стремился сдержать желание свободы, всегда готовое возродиться у французов.

К концу 1802 года в Париже узнали о смерти генерала Леклерка, который умер в Сан-Доминго от желтой лихорадки. В январе его молодая красивая вдова возвратилась во Францию. Она была с тех пор сильно ослаблена серьезной болезнью, которая всегда ее преследовала. Но даже ослабевшая и больная, одетая в печальное траурное платье, она показалась мне самой очаровательной особой, какую только приходилось видеть в жизни. Бонапарт убеждал сестру не злоупотреблять свободой, чтобы не впасть в излишества, которые, кажется, были причиной ее отъезда в Сан-Доминго; но она вскоре же перестала считаться со словом, которое дала ему в ту минуту.

Эта смерть дала повод к одному недоразумению, которое, судя по всему, стало еще одним шагом к восстановлению монархических обычаев. Бонапарт надел траур, как и госпожа Бонапарт, и мы также получили распоряжение носить траур. Это было уже довольно многозначительно, но речь шла пока лишь о том, что посланники должны явиться в Тюильри выразить Первому консулу и его жене сочувствие в этой потере. Им указали, что вежливость требует, чтобы они были в трауре во время этого посещения. Посланники собрались, чтобы обсудить это, и, не имея времени ждать указаний от своих дворов, решили явиться на приглашение так, как было в обычае в подобных случаях. Поэтому явились во дворец одетые в черное и были приняты по церемониалу.

С декабря 1802 года предыдущего английского посланника заменил лорд Витворт. В то время верили в прочный мир, хоть отношения между Францией и Англией с каждым днем усложнялись, и люди несколько более сведущие предвидели причины новых столкновений между двумя правительствами. В британском парламенте шла речь о роли, какую Франция играла в новой конституции, данной Швейцарии; в «Мониторе», вполне официальном органе, стали появляться статьи, в которых жаловались на некоторые меры, примененные в Лондоне к французам.

Однако все общество в Париже, и в частности в Тюильри, явно предавалось удовольствиям и празднествам. Внутри дворца все было спокойно, как вдруг новая фантазия Первого консула по отношению к молодой красивой актрисе «Комеди Франсез» смутила госпожу Бонапарт и вызвала довольно бурные сцены.

Две выдающиеся актрисы (мадемуазель Дюшенуа и мадемуазель Жорж) почти одновременно дебютировали в трагедии: одна очень некрасивая, но с выдающимся талантом, который стяжал ей много похвал, другая – «посредственная актриса, но необыкновенной красоты»³⁰.

Парижская публика горячилась ради одной и ради другой, но, в общем, успех таланта победил успех красоты. Бонапарт, наоборот, был побежден этой последней, и госпожа Бонапарт вскоре узнала, благодаря тайному шпионству своих лакеев, что госпожа Жорж была в течение нескольких вечеров тайно проведена в маленькое уединенное помещение во дворце. Это открытие внушило ей сильное беспокойство; она поделилась им со мной с необыкновенным волнением и начала проливать бесконечные слезы, которые показались мне более обильными, чем того заслуживал этот мимолетный случай. Я считала нужным доказать ей, что доброта и терпение являются, по-моему, единственными средствами против горя, которое время неминуемо рассеет, и в разговорах по этому поводу она начала открывать мне относительно своего супруга вещи, мне еще совершенно неизвестные.

Неудовольствие, которое она испытывала, заставило меня думать, что в горечи ее жалоб было некоторое преувеличение. По ее словам, «у него не было никаких моральных принципов, он скрывал еще пороки, к которым был склонен, потому что боялся, как бы они не повредили ему; но если бы ему дали возможность спокойно отдаться им без всяких жалоб, он мало-помалу погряз бы в самых позорных страстях. Не покори ли он своих сестер, одну за другой? Не считал ли он себя поставленным в мире так, что мог удовлетворять все свои фантазии? И, наконец, разве его семья не воспользовалась бы его слабостями, чтобы изменить его тихую семейную жизнь и отдалить от всяких отношений с женой?» И после каждой такой интриги она видела над своей головой этот угрожающий ей развод, о котором уже иногда заходила речь.

«Для меня большое несчастье, – добавляла она, – что я не дала Бонапарту сына. Это будет способ, которым воспользуется ненависть, чтобы смущать мой покой». – «Но, мадам, – отвечала я ей, – мне кажется, сын вашей дочери прекрасно поправит это несчастье; Первый консул любит его и, может быть, в конце концов усыновит его». – «Увы, отвечала она, – это предмет моих желаний, но ревнивый и мрачный характер Луи Бонапарта всегда будет мешать этому. Его семья со злым умыслом сообщила ему оскорбительные слухи, которые распростра-

³⁰ Вот какое воспоминание сохранил о соперничестве и таланте этих двух знаменитых актрис мой отец: «Связь императора с госпожой Жорж наделала шума. Общество, как я сам это помню, было очень взволновано этим спором о достоинствах трагических актрис. Спорили живо после каждого представления. Знайки и в общем салоны были за госпожу Дюшенуа. Но, в сущности, ее небольшому таланту не хватало тонкости. В то же время в ней было много страсти, чувства, трогательный голос, который заставлял плакать. Кажется, это для нее было придумано театральное выражение «иметь слезы в голосе». Моя мать и тетка стояли за госпожу Дюшенуа до такой степени, что способны были бросать копьё в моего отца, который был вынужден, по самой своей административной роли, держаться беспристрастно. Говорили, что одна из них так же хороша, как красива, а другая так же красива, как хороша. Эта последняя, еще очень молодая, надеясь на силу своего очарования, мало работала, а не особенно гибкий голос и известная тяжеловесность в произношении не давали ей достигнуть эффекта обработанной дикции. Мне кажется, однако, что, в сущности, она была умнее своей соперницы и, расточая свой талант в самых различных драматических жанрах, одновременно и губила его, и развивала, и заслужила известную долю той репутации, которую старались создать ей в старости» (77. Р).

няли относительно поведения моей дочери и рождения ее сына. Ненависть приписывает этого ребенка Бонапарту, и этого достаточно, чтобы Луи не пошел на соглашение с ним. Вы видите, как он держится в стороне и как дочь моя принуждена следить за малейшим своим поступком. Притом, независимо от этих важных результатов, неверность Бонапарта всегда является для меня источником тысячи неприятностей, какие мне придется переносить».

И в самом деле, я всегда замечала, что, как только Первый консул начинал заниматься другой женщиной, он становился жесток, груб, немилосерден по отношению к своей жене. И это потому, что деспотизм характера заставлял его удивляться, как жена не оправдывает во всем независимость, которую Первый консул хотел сохранить исключительно для себя; или же потому, что природа дала ему такую незначительную способность к привязанности и любви, что она вся бывала захвачена особой, избранной на время, и не оставалось уже ни малейшего благожелательства по отношению к другой. Он немедленно сообщал жене о новой связи и выказывал изумление, что она не признает развлечений, которые он считал, если можно так сказать, математически дозволенными и нужными для него. «Я не такой человек, как другие, – говорил он, – и законы морали и поведения не могут быть применены ко мне». Подобные заявления возбуждали недовольство, слезы и жалобы госпожи Бонапарт. Ее супруг отвечал на них иногда жестокостями и насилием, о которых я не смею рассказывать подробно, но когда его новая фантазия вдруг исчезала, он чувствовал, как возрождается его нежность по отношению к жене. Тогда он бывал тронут ее страданиями, заменял свои оскорбления ласками, которые не имели никакой меры, так же, как и грубости, – и, будучи кроткой и изменчивой, она опять успокаивалась.

Но в продолжение всего времени, пока длилась гроза, я часто находилась в очень затруднительном положении благодаря странным откровениям, которые получала, и даже поступкам, в которых принуждена была участвовать. Вспоминаю, между прочим, что случилось со мной однажды вечером, и страх, немного смешной, который я испытала и над которым позднее много смеялась.

Дело происходило в течение этой зимы. У Бонапарта еще была привычка приходить каждый вечер спать вместе с женой. Она ловко убедила его в том, что его личная безопасность связана с этой близостью. У нее был, как она говорила, очень легкий сон, и, если бы случилось, что кто-нибудь покушался бы на него ночью, она была бы тут же, чтобы тотчас же позвать на помощь. По вечерам госпожа Бонапарт удалялась только тогда, когда ее извещали, что муж уже в постели. Но когда его охватила фантазия по отношению к госпоже Жорж, он заставлял ее приходить довольно поздно, когда заканчивал работу, и сам спускался в эти дни только поздно ночью.

Однажды вечером госпожа Бонапарт, охваченная большим, чем всегда, ревнивым беспокойством, удержала меня возле себя и живо поведала мне о своем горе. Был уже час, мы были одни в ее гостиной, глубочайшее молчание царило в Тюильри. Вдруг она встает. «Я не могу больше терпеть; госпожа Жорж, наверно, наверно, я хочу их застигнуть».

Довольно смущенная этим внезапным решением, я сделала все возможное, чтобы ее отговорить, но не смогла достигнуть успеха. «Следуйте за мной, – сказала госпожа Бонапарт, – мы поднимемся вверх вместе с вами». Тогда я постаралась показать ей, что подобное шпионство, неприличное с ее стороны, недопустимо с моей и в случае открытия, которое она думала совершить, я буду лишняя в сцене, последующей за этим. Она не хотела ничего слушать, упрекала меня, что я покидаю ее в страданиях, и так сильно настаивала, что, против своего желания, я уступила ее воле, говоря себе, однако, что наше путешествие ни к чему не приведет и что на первом этаже точно приняты предосторожности против всяких неожиданностей.

Вот мы молча отправляемся, госпожа Бонапарт первая, до крайности взволнованная, я за ней, медленно подымаясь по крутой лестнице, ведущей в комнаты Бонапарта, стыдясь той роли, которую меня заставляли играть. В середине нашего путешествия раздается легкий шум.

Госпожа Бонапарт обернулась: «Это может быть Рустан, мамелюк Бонапарта, который охраняет дверь. Этот несчастный способен задушить нас обоих». При этих словах я была охвачена таким страхом, который не дал мне дослушать, и, не думая о том, что оставляю госпожу Бонапарт в полной темноте, я со свечой в руке вернулась в гостиную. Через несколько минут она последовала за мной, удивленная моим внезапным бегством. Увидев мое перепуганное лицо, она начала смеяться, я – тоже, и мы отказались от своего предприятия. Я ушла от нее, говоря, что странный испуг, который она мне причинила, принес ей пользу и я довольна, что поддаюсь ему.

Ревность, которая часто прерывала кроткое настроение госпожи Бонапарт, вскоре перестала быть тайной для кого бы то ни было. Эта ревность поставила меня в затруднительное положение поверенной, но без влияния на ту особу, которая со мной советовалась, и иногда создавалось впечатление, что я разделяю недовольство, свидетельницей которого являюсь.

Бонапарт сначала думал, что женщина должна вполне разделять чувства, испытываемые другой женщиной, и проявил некоторое недовольство тем, что я посвящена в наиболее интимную сторону его жизни. С другой стороны, парижское общество все более и более склонялось в пользу некрасивой актрисы. Красивую часто встречали свистом. Ремюза старался оказывать одинаковое покровительство обеим дебютанткам, но то, что он делал для той и для другой, почти одинаково принималось с неудовольствием или публикой, или Первым консулом. Все эти мелочи принесли нам некоторое беспокойство. Бонапарт, не вверяя Ремюза тайну своего интереса, пожаловался ему и заявил, что согласился бы, чтобы я была поверенной его жены, лишь бы я давала ей разумные советы. Мой муж представил меня как особу положительную, воспитанную во всех приличиях, которая ни в каком случае не могла бы возбуждать воображение госпожи Бонапарт. Консул, который был еще настроен благожелательно по отношению к нам, согласился думать обо мне хорошо; но тогда явилось другое неудобство: он стал иногда обращаться ко мне как к третейскому судье в своих семейных распрях и хотел опираться на то, что называл моим разумом, чтобы считать безумием ревнивые резкости, которыми был утомлен.

Так как у меня еще не было привычки скрывать свои мысли, то, когда он обращался ко мне по поводу своей досады, я отвечала ему совершенно искренно, что очень жалею госпожу Бонапарт, страдает ли она справедливо или нет, и что он должен извинять ее больше, чем всякий другой. Но вместе с тем я признавалась, что мне кажется, будто она поступает недостойно, когда посредством лакеев-шпионов ищет доказательства неверности, которую подозревает. Консул передавал госпоже Бонапарт мои слова, и тогда я оказывалась жертвой в бесконечных объяснениях между мужем и женой, в которые я вносила всю живость моего возраста и преданность, испытываемую по отношению к обоим.

Все это вызывало ряд сценок, подробности которых изгладились из моей памяти: я видела Бонапарта поочередно надменным, жестоким, недоверчивым до крайности, потом вдруг растроганным, смягченным, почти нежным, исправляющим довольно мягко вины, которые он признавал, но от которых, однако, не отказывался. Я помню, как однажды, чтобы прервать тет-а-тет, который его, вероятно, стеснял, оставив меня обедать с ним и его женой, очень взволнованной, конечно, потому что он объявил ей, что с этих пор будет спать ночью в отдельной комнате, Бонапарт решился сделать меня судьей в таком странном вопросе: должен ли муж утешать фантазии жены, если они касаются невозможности для него иметь другую постель, кроме ее постели?

Я была слишком мало подготовлена к тому, чтобы ответить, и знала, что госпожа Бонапарт не простит мне, если я не решу в ее пользу. Я старалась избежать ответа и держаться на том, что невозможно и даже не особенно удобно, чтобы я вмешивалась в решение такого вопроса. Но Бонапарт, который, впрочем, любил смущать, живо настаивал. Тогда я не нашла другого выхода из затруднения, как сказать, что не знаю точно, где должен быть предел тре-

бованиям жены и любезностям мужа, но все, что дает повод думать, что Первый консул изменил своей манере жизни, вызовет неприятные предположения, а малейшее волнение, которое произойдет во дворце, заставит всех нас много горевать. Бонапарт стал смеяться, дернув меня за ухо: «Ну, вы – женщина, а вы все заодно».

Тем не менее он не отказался от того, что решил, и с этих пор жил в отдельных комнатах. Однако мало-помалу он вернулся к более нежному отношению к жене, а она, со своей стороны, более спокойная, последовала совету, который я не переставала ей давать, – пренебрегать соперничеством, недостойным ее. «Было бы возможно огорчиться, если бы консул сделал выбор среди женщин, которые вас окружают, тогда бы это было истинное горе, а для меня – большая неприятность».

Два года спустя мое предсказание было в полной мере осуществлено, и в частности относительно меня.

Глава II 1803 год

Возвращение к монархическим привычкам – Фонтан – Госпожа д'Удето – Слухи о войне – Собрание Законодательного корпуса – Отъезд английского посла – Маре – Маршал Бертье – Путешествие Первого консула в Бельгию – Случай в дороге – Амьенские празднества

Помимо этой легкой бури, зима прошла спокойно. Некоторые новые учреждения ознаменовали восстановление порядка. Были организованы лицеи, магистратам возвратили мантии и известное значение. В Лувре собрали все французские картины, назвали это собрание «Музеем», и Денону было поручено заведование этим новым учреждением. Награды и пенсии давались литераторам, и по этому поводу часто совещались с Фонтаном. Бонапарт любил разговаривать с ним: его мнения были, в общем, интересны. Консулу нравилось затрагивать чисто классический вкус Фонтана, а Фонтан защищал наши французские шедевры с большой силой, которая придавала ему в глазах присутствующих репутацию известной храбрости. В то время при этом дворе находились люди, уже настолько изошренные в профессии придворных, что им казался настоящим римлянином тот, кто осмеливался восхищаться Меропой или Митридатом, тогда как господин заявлял, что не любит ни ту ни другого. Однако, казалось, Бонапарт очень забавлялся этими литературными спорами. Одно время он имел даже желание доставлять себе подобное удовольствие два раза в неделю, приглашая известных литераторов проводить вечер у госпожи Бонапарт. Ремюза, который знал в Париже довольно много выдающихся людей, должен был собирать их во дворце.

И вот однажды вечером пригласили нескольких академиков и известных литераторов. Бонапарт был в прекрасном настроении, он хорошо говорил и предоставлял говорить, был любезен и оживлен. Я была в восторге, что он показал себя именно таким. Мне очень хотелось, чтобы он понравился тем, кто его не знал, и чтобы он разрешил, показываясь чаще, известные предубеждения, которые зарождались против него. Так как, когда он желал, его ум бывал очень тонок, Бонапарт вскоре раскрыл свойства ума старого аббата Морелле³¹, человека прямого, определенного, идущего всегда прямо от обстоятельств к обстоятельствам, не признающего никогда влияния воображения на направление человеческих идей. Бонапарту нравилось оспаривать эту систему. Давая волю своему собственному воображению (а тогда оно заводило его далеко), он затрагивал всевозможные сюжеты, иногда терялся, убеждался в утомлении, которое доставляет уму аббата, но при этом был действительно очень интересен. На другой день он с удовольствием говорил об этом вечере и объявил, что желает еще подобных же.

И, конечно, еще одно собрание было назначено уже через несколько дней. Я не помню, кто именно начал довольно решительно высказываться по поводу свободы думать и писать и о ее преимуществах для нации. Это вызвало нечто вроде спора, несколько менее непринужденного, чем в первый раз, поскольку консул долго оставался безмолвным, что внесло в собрание какой-то холод. Наконец, во время третьего вечера, он появился позднее, был мечтателен, рассеян, мрачен и проронил только несколько отрывочных слов. Все молчали и скучали. На другой день Первый консул сказал нам, что ничего не может извлечь из всех этих литераторов, что их невозможно приблизить и он не желает больше, чтобы их приглашали. Он не мог переносить никакого принуждения, а необходимость быть любезным и веселым в известный день и в определенный момент тотчас же показалась ему стеснением, которое он поспешил стряхнуть с себя.

³¹ Аббат Морелле (1727–1819) – экономист, в свое время деятельный сотрудник «Энциклопедии» Дидро.

В эту зиму умерли два выдающихся академика: Лагарп и Сен-Ламбер. Я сильно жалела последнего, так как нежно любила госпожу д'Удето, с которой он был связан почти столетия и у которой и умер. В доме этой симпатичной старушки собиралось самое лучшее, самое приятное общество Парижа. Я часто бывала у нее и находила там остатки времен, которые, казалось, исчезают безвозвратно, – я хочу сказать – тех времен, когда умели разговаривать приятно и поучительно. Госпожа д'Удето, по своему возрасту и очаровательному характеру чуждая какого бы то ни было партийного духа, наслаждалась покоем, который был нам возвращен, и пользовалась им, чтобы собирать у себя обломки хорошего общества Парижа. Я очень любила отдыхать у нее от принуждения, в котором находилась в салоне Тюильри, я видела вокруг достойные примеры и постепенно обретала необходимую опытность.

Между тем начинали тихонько говорить, что может вновь возобновиться война с Англией. Были опубликованы тайные письма о некоторых предприятиях в Вандее. Казалось, английское правительство обвиняли в том, что оно поддерживало вандейцев, а Жоржа Кадудала называли посредником между этим правительством и шуанами. В то же время говорили об Андре, который якобы тайно проник во Францию, хотя уже раз, до переворота 18-го фрюктидора, пробовал служить королевской агентуре.

По этому поводу собрали Законодательный корпус. Отчет о положении Республики, представленный на заседании, был замечателен и был замечен. Мир со всеми державами, предложение о новом разделе Германии, данное в Регенсбурге и признанное всеми правителями, конституция, принятая швейцарцами, Конкордат, заботы о народном просвещении, учреждение Института, более правильно организованная юстиция, улучшение финансов, Гражданский кодекс, часть которого была отдана на обсуждение этого собрания, различные работы, начатые одновременно и на границах, и во Франции, в частности проекты относительно важнейшей дороги через Мон-Сени и канала Урк (для судоходства и снабжения Парижа питьевой водой. – *Прим. ред.*), приобретение острова Эльба, Сан-Доминго, где еще продолжалась война, проекты многочисленных законов об учреждении торговых палат, урегулировании медицины и мануфактур, – все это представляло удовлетворительную и почетную для правительства картину. В конце этого доклада, однако, проскользнуло несколько слов о возможности разрыва с Англией и о необходимости усилить армию.

Ни Законодательный корпус, ни Трибунат не протестовали ни по одному пункту, и по отношению к работам, так счастливо начатым, было выражено одобрение, в конце концов заслуженное в эту эпоху.

В первые дни марта в наших журналах появились довольно горькие жалобы относительно пасквилей, которые распространялись в Англии по адресу Первого консула. Раздражение против того, что появилось в английской печати, которая пользовалась полной свободой, было неискренним, но и оказалось только предлогом: оккупация Мальты и наше вмешательство в дела Швейцарии были настоящей причиной разрыва. Восьмого марта 1803 года послание английского короля к парламенту возвещало о важных разногласиях и пререканиях между двумя правительствами, король жаловался на вооружение голландских портов. В то самое время мы и были свидетелями сцены, о которой я уже говорила, когда Бонапарт перед всеми посланниками притворился жестоко разгневанным (или был взбешен искренне). Вскоре после этого он покинул Париж и поселился в Сен-Клу.

Общественные дела не поработщали его всецело, он, к примеру, заставил одного из префектов дворца написать письмо с выражением восхищения знаменитому Паизиелло относительно оперы «Прозерпина», которую тот только что давал в Париже. Первый консул очень ревниво относился к возможности привлекать во Францию выдающихся людей из разных стран и щедро платил им.

Вскоре произошел разрыв между Францией и Англией, и английский посланник, перед дверью которого ежедневно собиралась масса народа, чтобы успокоиться или взволноваться в

зависимости от приготовлений к отъезду, какие можно было заметить перед его домом, внезапно уехал. Талейран сделал Сенату донесение относительно мотивов, которые принуждали к войне. Сенат ответил, что может только приветствовать умеренность, соединенную с твердостью Первого консула, и послал в Сен-Клу депутацию с выражением благодарности и преданности. Воблан, выступая в Законодательном корпусе, с энтузиазмом воскликнул: «Какой глава нации когда-нибудь проявил большую любовь к миру! Если бы возможно было отделить историю Первого консула от истории его деяний, казалось бы, что изучаешь жизнь спокойного магистрата, который занят только способами утвердить мир».

Трибунат передал пожелание, чтобы были приняты энергичные меры, и после всех этих выражений восхищения и преданности сессия Законодательного корпуса закончилась.

Вот тогда-то появились в первый раз жестокие и оскорбительные ноты против английского правительства, которые следовали одна за другой и слишком тщательно отвечали на статьи периодических листков, ежедневно издающихся в Лондоне. Бонапарт часто диктовал суть этих нот, которые Маре затем редактировал. Но выходило, что правитель обширной империи как бы вступает в словесный поединок с журналистами и унижает собственное достоинство, показывая себя слишком раздраженным насмешками этих летучих листков, на которые было в сто раз лучше не обращать никакого внимания. Английским журналистам нетрудно было узнать, до какой степени Первый консул, а немного позднее император Франции, оказывался задет шутками, которые они себе позволяли на его счет, и тогда они удвоили энергию своих преследований.

Как часто нам приходилось видеть его мрачным и в дурном настроении и слышать, как он говорил госпоже Бонапарт, что это из-за недавней статьи в «Курьере» или в газете «Сан», направленной против него. Бонапарт попробовал даже поддерживать нечто вроде чернильной войны между различными английскими газетами, подкупал в Лондоне писателей, истратил много денег, но никого не смог обмануть ни во Франции, ни в Англии.

Я уже говорила по этому поводу, что часто он диктовал заметки в «Монитор». У Бонапарта была странная манера диктовать. Никогда ничего не писал он собственноручно. Его ужасный почерк был неразборчив как для других, так и для него самого, и у него была плохая орфография. Ему совершенно не хватало терпения для какого бы то ни было ручного труда, а необыкновенно деятельный ум и привычка повиноваться минуте, секунде не позволяли никакого упражнения, где одна часть его самого должна была бы повиноваться другой. Люди, которые редактировали по его указаниям (сначала Бурьен, а потом Маре и его личный секретарь Меневаль), придумали нечто вроде сокращенного письма, чтобы их перо могло двигаться так же быстро, как его мысль. Первый консул диктовал, расхаживая большими шагами по своему кабинету. Если он был возбужден, его речь была пересыпана жестокими проклятиями и даже богохульством, которые пропускали, когда записывали, и которые имели по крайней мере то преимущество, что давали немного времени, чтобы поспеть за ним.

Бонапарт не повторял того, что сказал один раз, хотя бы даже его не слышали, и это было несчастьем для его секретарей, так как он очень хорошо помнил, что сказал, и замечал пропуски. Однажды он прочел одну трагедию в рукописи, которая была ему передана; произведение настолько поразило его, что у него явилась фантазия сделать в нем некоторые изменения. «Возьмите чернила и бумагу, – сказал он Ремюза, – и запишите то, что я буду вам говорить». И почти не давая моему мужу времени устроиться за столом, он стал диктовать с такой быстротой, что Ремюза, привыкший к очень быстрому письму, сильно вспотел, стараясь следовать за ним. Бонапарт прекрасно видел, как тому было трудно, и время от времени приостанавливался, чтобы сказать: «Ну постарайтесь понять меня, потому что я не стану повторять». Его всегда несколько забавляла неловкость, в которую он ставил других. Главный общий принцип, который он всегда применял как в крупном, так и в мелочах, заключался в том, что рвение является только вместе с беспокойством.

Слава Богу, что он забыл спросить лист с замечаниями, который продиктовал, так как мы, Ремюза и я, часто пытались перечитать его и никогда не были в состоянии разобрать ни слова. Маре, государственный секретарь, человек отнюдь не блестящего ума (на самом деле Бонапарт не питал ненависти к людям средним, говоря, что у него достаточно ума, чтобы давать им то, чего им недостает), – Маре, говорю я, дошел до того, что получил большое влияние, потому что достиг необыкновенной ловкости в редактировании. Он привык понимать и передавать даже слабый намек мысли Бонапарта и, не допуская никогда никаких замечаний, умел верно передать ее такой, какой она выходила из мозга консула. Окончательно же объясняет успех Маре у господина то, что он отдавался, или делал вид, что отдается, безграничной преданности, которую выражал восхищением, – и это восхищение не могло не льстить Бонапарту. Этот министр дошел до такой лести, что, как утверждают, когда он путешествовал с императором, то заботливо оставлял своей жене образцы писем, которые она старательно списывала и в которых жаловалась на то, что ее муж так исключительно предан своему господину, что она не может удержаться от ревности. И так как во время путешествия курьеры доставляли его письма императору, который часто забавлялся тем, что вскрывал их, эти ловкие жалобы производили именно тот эффект, которого ожидали.

Когда Маре был министром иностранных дел, он не держался примера Талейрана, который часто говорил, что на этом месте надо больше всего вести переговоры с самим Бонапартом. Маре, наоборот, входил во все его страсти, всегда выражая удивление, как иностранные государи смеют возмущаться, когда их оскорбляют, и стремятся несколько противодействовать своей гибели; он часто упрочивал свое положение за счет интересов Европы, к которым он мог бы отнестись более справедливо, как беспристрастный и ловкий министр. Он всегда имел подле себя, так сказать, курьера, чтобы донести каждому государю первый признак гнева Бонапарта, если тот узнавал какую-нибудь новость, которая его зажигала.

Эта преступная услужливость, впрочем, иногда вредила самому его господину. Она вызвала несколько разрывов, о которых жалели после того, как первый гнев остывал, и, может быть, даже способствовала падению Бонапарта. Дело в том, что в последний год его царствования, в то время, как он колебался в Дрездене относительно того, как поступить, Маре на восемь дней задержал необходимое отступление, не имея мужества сообщить императору об измене Баварии, о чем тому так необходимо было знать³².

³² Очевидно, что известная часть суждений, выраженных здесь, носит личный характер или же представляет общественное мнение в тот момент нашей истории. Отвечая за все, что я печатаю, я не вполне солидарен со взглядами автора, и нет никакой необходимости противопоставлять по всякому случаю одно мнение другому или какой-либо новый документ впечатлению современника событий. Так, например, вот что отец мой думал о Маре: «...Большая склонность к труду, легкость в выражениях, быстрое и довольно верное понимание материальной и поверхностной стороны дела, память точная в мелочах, привычка заниматься одновременно многим, наконец, способность забыть себя, чтобы вполне слиться с идеей или даже с чувством того, что ему диктовали, – делали из него полезное, или, вернее, удобное орудие, и он хорошо мог бы занимать второе или третье место в министерстве. Он не любил по натуре ни зла, ни несправедливости. Насилие по отношению к людям было не в его вкусе; утверждают, что он и помешал некоторым из таковых проявлений. Наконец, он был действительно привязан к императору и не старался, насколько я его знаю, вызвать никакой низостью несчастья, какие позднее эта привязанность навлекла на него. Но, полный доверия к самому себе, жадный к милостям, ревниво относящийся к своему влиянию, возгордившийся своим положением и властью, он видел врагов в достоинстве, независимости, во всем том, что могло навлечь на него тень, во всем том, что не служило его честолюбию, не льстило его тщеславию или величию. Сохранение своего положения при императоре стало его единственной мыслью и как бы его главной обязанностью. Угодить ему во всем было единственной работой и всей его политикой. Наполеонова система, как ее исповедовал император, была для него официальной, а официальная правда была для него единственной правдой. Он не понимал ничего другого, а если бы и понимал, то ничего бы не говорил об этом». А вот что пишет о нем Беньо в своих мемуарах: «Маре обладает прекрасным сердцем, он склонен по натуре ко всему доброму. Его ум развит, и если бы его дела не отвлекали от литературы, он был бы уважаемым писателем, если не перворазрядным. Его главный талант заключается в особенной легкости передавать мысли другого; он так его упражнял в редактировании «Монитора» и других текстов подобного же рода, что его ум как бы замкнулся в нем. Вначале Маре не понравился Первому консулу, особенно благодаря свойствам, которые позднее сделались столь ценными для него, – его услужливость, его старание, его готовность ступаться перед умом других. По мере того как Первый консул сосредоточил в своих руках власть и привык пользоваться ею неделимо, он примирился с секретарем консульства. Деспотизм одного и возвышение другого росли пропорционально». Эти мнения различные, хотя и не противоречивые, показывают, что влияние герцога Бас-

Может быть, здесь уместно рассказать относящийся к Талейрану анекдот, который доказывает, до какой степени этот ловкий министр знал, как надо поступать с Бонапартом, и в какой мере владел собой.

Мир между Англией и Францией заключили в Амьене весной 1802 года. Некоторые новые затруднения между уполномоченными вызывали известное беспокойство. Первый консул с нетерпением ждал курьера. Тот является и приносит министру иностранных дел столь желанную подпись. Талейран кладет ее в карман и отправляется к Первому консулу, появляется перед ним с невозмутимым видом, какой он сохранял во всех случаях. Остается целый час, представляя Бонапарту целый ряд важных дел, и, когда работа подходит к концу, говорит, улыбаясь: «Теперь я доставлю вам большое удовольствие: трактат подписан, вот он».

Бонапарт был поражен этим способом сообщить новость.

– Как же, – спросил он, – вы мне этого тотчас же не сказали?

– А, – ответил ему Талейран, – тогда вы не стали бы слушать всего остального. Когда вы счастливы, вы недоступны.

Эта сила в молчании поразила Первого консула и не рассердила его, добавлял Талейран, потому что он тотчас же заключил, сколько можно извлечь из этого выгоды.

Другой представитель этого же двора, более сердечно преданный Бонапарту, но так же точно обнаруживающий восхищение им, был маршал Бертье, принц Ваграмский. Он совершил египетскую кампанию и там сильно привязался к своему генералу. Он демонстрировал даже такую дружбу, что Бонапарт, как ни был нечувствителен ко всему, исходящему от сердца, не мог порой не отвечать на нее. Но их чувства были крайне неравны и сделались для того, кто обладал властью, случаем требовать преданности, которая является результатом искренней привязанности. Однажды Талейран беседовал с Бонапартом, ставшим императором. «В самом деле, – говорил Бонапарт, – не понимаю, как могли между мной и Бертье установиться отношения, имеющие вид дружбы. Мне не слишком нравятся бесполезные чувства, а Бертье – такая посредственность, что я не знаю, почему мне должно нравиться его любить; а между тем, в сущности, когда ничто меня не отвращает, мне кажется, я не лишен склонности к нему». – «Если вы его любите, – отвечал Талейран, – то это потому, что он верит в вас!»

Все эти разнообразные рассказы, которые я привожу по мере того, как их припоминаю, я узнала только гораздо позднее, когда мои более близкие отношения с Талейраном открыли мне главные черты характера Бонапарта. В первые годы я совершенно заблуждалась на его счет и была благодаря этому очень счастлива. Я находила в нем ум, я видела, что он готов был исправлять мимолетные вины по отношению к своей жене, я видела с удовольствием эту дружбу Бертье; он ласкал на моих глазах маленького Наполеона, которого, по-видимому, любил. Я представляла его себе открытым для нежных и естественных чувств, и мое юное воображение легко наделяло его всевозможными достоинствами. Но, по справедливости, надо сказать, что избыток власти пьянил его, а страсти дошли до крайности по причине легкости, с какой он мог их удовлетворять; молодой и неуверенный еще в своем будущем, он чаще колебался: обнаруживать ли ему известные пороки или по крайней мере поддерживать некоторые добродетели.

Не знаю, кто первый после объявления войны Англии внушил Бонапарту идею о плоскодонных судах. Я не могу даже утверждать, что он искренне проникся надеждой или сделал из этого случай усилить армию, которую собрал в Булонском лагере. Притом так много людей подтверждали возможность высадки, что, быть может, Бонапарт решил, будто судьба принесет ему подобный успех.

сано не всегда было полезно с общественной точки зрения, но он был из числа тех, кто думает, что неприятные сообщения или советы, которые не нравятся, более вредны тому, кто их дает, чем полезны тому, кто их получает. Они делают своим законом щадить больше слабости, чем положение своих господ, и служить больше их страстям, чем их интересам. Конечно, эти льстецы отвратительны, но первый источник их ошибок – абсолютная власть. Ведь именно потому, что монарх всемогущ, так опасно ему не нравиться. Все низменное, как и все справедливое, зависит от короля (П.Р.).

В наших портах и в некоторых городах Бельгии вдруг были начаты громадные работы; армия шла по берегу; генералы Сульт и Ней были отправлены для командования ею в разные пункты. Всеобщее воображение как будто бы было направлено на завоевание Англии, так что сами англичане начали беспокоиться и делать некоторые приготовления к обороне. Общественное мнение старались возбуждать против Англии драматическими произведениями: в театрах представляли сюжеты из жизни Вильгельма Завоевателя. А между тем легко захватили Ганновер. Но тогда и началась блокада наших портов, которая причинила нам столько зла.

Летом этого года было решено отправиться в Бельгию. Первый консул потребовал, чтобы это путешествие было совершено с большой пышностью. Ему нетрудно было убедить госпожу Бонапарт носить все то, что могло бы поразить людей, которым она будет показываться. Госпожа де Талуэ и я были избраны для совершения покупок, и консул дал мне тридцать тысяч франков на расходы. Он отправился в путь 24 июня 1803 года в сопровождении нескольких экипажей, двух генералов своей гвардии, адъютантов, Дюрока, двух префектов дворца – Ремюза и одного пьемонтца по имени Сальматорис; и ничто не было забыто, чтобы сделать это путешествие пышным.

Прежде чем двинуться в путь, мы провели один день в Мортефонтене. Эту землю купил Жозеф Бонапарт, и вся семья собралась здесь. Но тут произошло довольно странное происшествие.

Утро посвятили осмотру садов, действительно прекрасных. Во время обеда зашла речь о церемониале. Мать Бонапарта также была в Мортефонтене, и Жозеф предупредил брата, что, проходя в столовую, он поведет под руку свою мать, которая сядет от него справа, тогда как госпожа Бонапарт сядет только слева. Церемониал, который ставил его жену на второе место, обидел консула, и он приказал брату изменить очередность. Жозеф запротестовал, и ничто не смогло заставить его уступить. Когда объявили, что обед подан, Жозеф взял под руку мать, а Люсьен – госпожу Бонапарт. Консул, раздраженный протестом, быстро пересек залу, подхватил жену под руку, прошел впереди всех, посадил ее рядом с собой и, полуобернувшись ко мне, громко позвал меня и приказал сесть около себя. Все собрание было поражено, я – больше всех. Госпожа Жозеф Бонапарт, с которой обязаны были соблюдать вежливость, в итоге очутилась в конце стола, как будто не составляла часть семьи. Понятно, что за столом возникла неловкость. Братья были недовольны, госпожа Бонапарт – огорчена, а я – очень сконфужена тем, что оказалась так на виду.

Во время обеда Бонапарт не сказал ни слова никому из своей семьи, он был занят только женой, потом поговорил со мной и выбрал даже этот момент, чтобы сообщить мне, что утром отдал виконту Вержену (моему двоюродному брату) леса, давно секвестрованные вследствие эмиграции. Я была весьма тронута этим знаком его благосклонности, но в то же время мне было очень досадно, что он выбрал подобный момент для такого сообщения, так как благодарность и радость, которые позднее я с удовольствием бы ему выразила, придавали мне в глазах тех, кто нас видел, вид непринужденности, противоречащей неловкости, которую я на самом деле испытывала. Остаток дня прошел холодно, как можно себе представить, и на следующий день мы уехали.

Случай, который произошел с нами с самого начала путешествия, еще больше усилил мою привязанность к консулу и его жене. Они ехали в экипаже с одним из генералов гвардии. Впереди был экипаж, где ехали Дюрок и три адъютанта, сзади него третий – для госпожи де Талуэ, Ремюза и меня. Позади нас – еще два. В нескольких лье от Компьеня, где мы посещали военную школу, кучера повезли с такой быстротой, что наш экипаж неожиданно опрокинулся. Госпожа де Талуэ повредила голову, Ремюза и я получили только несколько ушибов. Нас вытащили из разбитого экипажа с некоторым трудом.

Об этом случае донесли Первому консулу, который был впереди. Он велел остановиться, госпожа Бонапарт в ужасе стала беспокоиться обо мне, и Бонапарт поспешил в маленькую хижину, куда нас привели к этому моменту. Я была так потрясена, что, как только увидела Бонапарта, стала просить его почти со слезами отправить меня в Париж. У меня было уже отвращение по отношению к путешествиям, как у голубя в басне Лафонтена, и в волнении я воскликнула, что мечтаю возвратиться к своей матери и детям.

Бонапарт обратился ко мне с несколькими словами, чтобы меня успокоить, но, видя, что в первые минуты ничего не достигнет, взял меня под руку, дал распоряжение поместить госпожу де Талуэ в один из экипажей и, удостоверившись, что с Ремюза ничего не случилось, повел меня, перепуганную, к своей карете и заставил сесть вместе с ним. Мы поехали, и он старался успокоить свою жену и меня, весело посоветовав нам поцеловаться и поплакать, «потому что, – смеясь заметил он, – это облегчает женщин». Мало-помалу ему удалось отвлечь меня оживленным разговором от ужаса, какой мне внушала мысль о продолжении путешествия. Когда госпожа Бонапарт заговорила о горе моей матери, если бы со мной что-нибудь случилось, он задал мне несколько вопросов о ней и как будто хорошо знал положение, которое она занимала в обществе. Видимо, именно этот мотив и вызывал значительную часть его забот обо мне. В то время, когда столько людей еще отказывались от авансов, которые он им делал, ему было лестно, что моя мать согласилась на мое представление ко двору. В то время я была для него почти знатной дамой, и он надеялся, что моему примеру последуют другие.

Вечером этого дня мы прибыли в Амьен, где были встречены с энтузиазмом, который невозможно описать. В какой-то момент лошади кареты были отпряжены и заменены жителями, желавшими ее везти. Я была тем более тронута этим зрелищем, что для меня оно было совершенно ново. Увы! С тех пор как я пришла в возраст, когда оглядываешься вокруг себя, я видела только сцены ужаса и отчаяния, я слышала со стороны народа только крики ненависти и угроз. Эта радость жителей Амьена, эти гирлянды, которые увенчивали наш путь, эти триумфальные арки, воздвигнутые в честь того, кто был изображен на всех девизах как восстановитель Франции, эта толпа народа, которая теснилась, чтобы его увидеть, эти благословения, слишком всеобщие, чтобы быть предписанными, – все это тронуло меня так живо, что я не могла удержаться от слез; госпожа Бонапарт тоже плакала, и я видела, что глаза Бонапарта на минуту покраснели.

Глава III 1803 год

Продолжение путешествия в Бельгию – Взгляды Первого консула на благодарность, славу и французов – Пребывание в Генте, Малине, Брюсселе – Духовенство – Рокелор – Возвращение в Сен-Клу – Приготовления к высадке в Англии – Замужество госпожи Леклерк – Путешествие Первого консула в Булонь – Болезнь Ремюза – Я еду к нему – Беседа с Первым консулом

Как только Бонапарт появлялся в каком-нибудь городе, префект дворца должен был тотчас же собрать представителей власти для представления Первому консулу. Префект, мэр, епископ, председатель суда приветствовали его, потом произносили небольшую речь, обращаясь к госпоже Бонапарт. В зависимости от того, был ли он более или менее терпелив, Первый консул выслушивал эти речи до конца или прерывал их, чтобы задать различным лицам вопросы относительно их обязанностей или страны, в которой они исполняли их. Редко расспрашивал он с видимым интересом, чаще – тоном человека, который хочет доказать, что знает предмет, и хочет видеть, сумеют ли ему ответить.

В этих речах говорилось о Республике, но если дать себе труд перечесть их, то станет ясно, что с такими же речами можно было обращаться и к государю. В некоторых городах Фландрии мэры довели свою решимость до требований, чтобы консул завершил счастье всего мира, заменив свой титул, слишком непрочный, другим, который лучше бы соответствовал его высокому назначению. Я присутствовала тогда, когда это случилось в первый раз, и следила за Бонапартом. Когда эти слова были произнесены, он с некоторым трудом сдержал улыбку, затем, сохраняя самообладание, прервал оратора и отвечал с выражением притворного гнева, что узурпация власти, которая уничтожила бы существование Республики, была бы недостойна его; подобно Цезарю, он отверг корону, хотя, быть может, не был недоволен, что ее начинали предлагать. И, в сущности, эти добрые жители провинции не были слишком неправы.

Блеск, окружающий нас, вся пышность этого двора, военного и вместе с тем блестящего, церемониал, строго требуемый повсюду, повелительный тон господина, подчинение всех и, наконец, эта супруга первого магистрата, которой Республика ничем не была обязана и по отношению к которой требовалось выражение почтения, – все это могло обозначать только шествие короля.

После аудиенции Первый консул обыкновенно садился на лошадь и показывался народу, который следовал за ним с криками; он посещал общественные памятники, мануфактуры, всегда немного бегом, так как не мог удержать быстроту своих движений. Затем Бонапарт давал обед, присутствовал на празднике, который был ему приготовлен, и это было самой скучной частью его профессии, «так как, – добавлял он меланхолическим тоном, – я не создан для удовольствия».

Наконец он покидал город, получив несколько прошений, ответив на некоторые жалобы, распределив помощь в виде денег и подарков. Во время таких поездок, убедившись в отсутствии некоторых общественных учреждений, необходимых городу, консул привык требовать, чтобы они учреждались после его посещения. И за эту щедрость он уносил с собой благословения жителей. Но вскоре происходило следующее. «Согласно милости, которую вам оказал Первый консул (позднее император), – писал министр внутренних дел, – вы обязаны, граждане, построить такое-то или такое-то здание, позаботившись принять расходы на счет вашей городской общины». Таким образом, города оказывались вдруг вынужденными изменить порядок распределения своих фондов, и часто в то время, когда этих фондов не хватало на покрытие самых необходимых нужд. Но префект тщательно заботился о том, чтобы приказания были

исполнены: таким образом можно было доказать, что во Франции повсюду, из конца в конец, все улучшалось, все процветало, и изобилие таково, что можно повсеместно начинать новые предприятия, как бы они ни были тягостны.

В Аррасе, Лилле, Дюнкерке нас ожидали такие же встречи, но мне показалось, что энтузиазм несколько уменьшился, когда мы покинули старую Францию. В Генте, особенно, мы встретили некоторую холодность. Тщетно власти старались возбудить жителей, – они выразили любопытство, но не старание угодить. У консула появилось легкое недовольство, и ему не хотелось оставаться надолго; однако вскоре, одумавшись, он сказал своей жене: «Этот народ набожен и находится под влиянием священников; завтра нужно будет долго пробыть в церкви, привлечь духовенство некоторыми милостями, и мы овладеем страной». В самом деле, он с видом глубокого проникновения присутствовал на длинной мессе, побеседовал с епископом, которого совершенно очаровал, и мало-помалу добился на улицах приветственных криков, каких желал.

Именно в Генте он нашел дочерей герцога Виллекье, одного из прежних четырех вельмож города, и вернул им прекрасное имение Виллекье со значительными доходами. Я имела счастье содействовать этому возвращению, стараясь ускорить его, чем только могла; милые молодые особы никогда этого не забывали.

В тот вечер, когда это совершилось, я говорила Бонапарту об их благодарности. «Ах, – сказал он мне, – благодарность!.. Это только поэтическое выражение, лишённое смысла в революционные эпохи, и то, что я сделал, не помешает вашим друзьям очень обрадоваться, если какой-нибудь королевский посланный во время этого путешествия убьёт меня». И так как я выразила удивление, он продолжал: «Вы молоды, вы не знаете, что такое политическая ненависть. Видите ли, это нечто вроде сложных очков, сквозь которые можно видеть отдельные лица, взгляды, чувства, но только при помощи стекол своей страсти. Отсюда следует, что ничто ни хорошо, ни плохо само по себе, а только в зависимости от той точки зрения, с которой мы смотрим. В сущности, эта манера видеть довольно удобна, и мы ею пользуемся, потому что у нас тоже есть свои очки, и мы рассматриваем вещи если не сквозь наши страсти, то по крайней мере сквозь наши интересы».

«Но, – сказала я ему в свою очередь, – с подобной системой какое место отводите вы одобрению, которое вам льстит? Для какой категории людей тратите вы вашу жизнь на великие предприятия и часто опасные попытки?» – «О, надо быть человеком, повинующимся своей судьбе. Кто чувствует, что она зовет его, не может ей противиться. Кроме того, человеческая гордость создает для себя публику, какую пожелает, в том идеальном мире, который называется потомством. Пусть человек представит себе, что через сто лет прекрасные стихи напомнят какие-нибудь великие дела, а какая-нибудь картина сохранит об этом воспоминание, и т. п.; тогда воображение разыгрывается, поле битвы больше не представляет опасности, напрасно гремят пушки, – их звук, кажется, только переносит имя храбреца через тысячу лет нашим отдаленным потомкам».

«Никогда не пойму, – продолжала я, – как можно искать славы, если с внутренним пренебрежением относиться к людям своего времени». Тут Бонапарт живо перебил меня: «Я не презираю людей, – это слово, которое никогда не нужно произносить; и, в частности, я уважаю французов». Я улыбнулась при этом резком заявлении, и, как бы догадываясь о причине моей улыбки, он также улыбнулся и, приблизившись ко мне и дернув меня за ухо, что было, как я уже говорила, его обычным жестом, повторил мне: «Слышите ли, сударыня? Никогда не нужно говорить, что я презираю французов».

Из Гента мы отправились в Антверпен, где получили удовольствие от совершенно особенной церемонии. Во время пребывания в городе королей и принцев жители Антверпена имеют обыкновение прогуливать по улицам великана. Пришлось согласиться на эту фантазию народа, хотя мы не были ни королями, ни принцами. Затея способствовала доброму располо-

жению Бонапарта по отношению к этому славному городу, и Первый консул много занимался вопросом строительства городского порта, начав важную работу, которая затем была полностью выполнена.

Переезжая из Антверпена в Брюссель, мы остановились на несколько часов в Малине у нового архиепископа Рокелора. Он был епископом Санлиса при Людовике XVI и большим другом моего двоюродного дедушки, графа Вержена. Я часто видела его в детстве и была чрезвычайно рада снова встретить. Бонапарт был очень ласков с ним. В это время он везде подчеркивал, что нужно заботиться о духовенстве и привлекать его на свою сторону. Консул знал, до какой степени религия поддерживает королевскую власть, и предвидел возможность с помощью духовенства распространить в народе катехизис, в котором вечное проклятие угрожало бы тем, кто не будет любить императора или не будет повиноваться ему.

В первый раз со времени Революции духовенство видело, что правительство интересуется его судьбой и предоставляет ему места и положение. Духовенство показало себя благодарным и сделалось полезным союзником Бонапарта до того момента, когда он захотел противопоставить деспотизм совести и попробовал заставить священников колебаться между ним и своими обязанностями. Но пока еще огромный успех принесло ему начинание, превозносимое с энтузиазмом всеми религиозными устами: «Он восстановил религию»³³.

Наш въезд в Брюссель был великолепен; многочисленные, прекрасно экипированные отряды ожидали Первого консула у ворот; он сел на лошадь; для госпожи Бонапарт была приготовлена великолепная карета; город был декорирован, стреляли из пушек, звонили во все колокола; духовенство в торжественном облачении расположилось на ступенях храма; масса народа, множество иностранцев, восхитительная погода! Я была в восторге.

Все время, которое мы провели в Брюсселе, было ознаменовано блестящими празднествами. Министры Франции, консул Лебрен, иностранные посланники, которые должны были разрешить с нами некоторые дела, – все явились сюда. В Брюсселе я слышала, как Талейран ловко и лестно для Бонапарта ответил на его слишком внезапный вопрос. Однажды вечером Первый консул спросил Талейрана, каким образом он смог составить себе громадное состояние, да еще так быстро. «Ничего не может быть проще, – отвечал Талейран, – я купил ренты 17-го брюмера и продал их 19-го».

Однажды в воскресенье нужно было идти в брюссельский собор на большую церемонию. С утра Ремюза отправился в церковь, чтобы следить за проведением этой церемонии. Он имел секретное поручение не противиться никаким выражениям отличия, которые придумает духовенство по этому поводу. Однако когда решили встречать Первого консула с балдахином и крестом у главных ворот и вопрос был в том, разделит ли эту честь его жена, Бонапарт не решился поставить ее в такое положение и велел отвести ей место на трибуне вместе со вторым консулом.

В полдень, как было назначено, духовенство выходит из алтаря и становится за пределами портала. Оно ожидает появления властелина, который не показывается. Удивляются, беспокоятся, как вдруг, обернувшись, видят, что он уже прошел в церковь и уселся на троне, который ему приготовили. Священники, удивленные и смущенные, возвращаются в церковь, чтобы начать службу. Дело в том, что Бонапарт узнал, как во время подобной же церемонии Карл V предпочел войти в церковь св. через маленькую боковую дверь, которая с тех пор называлась его именем, и, по-видимому, Первому консулу пришла фантазия воспользоваться подобным же способом, может быть, в надежде, что с этих пор ее будут называть дверью Карла V и Бонапарта.

³³ Бонапарт, зная, что в Бельгии будет иметь дело с религиозным народом, взял с собой в путешествие кардинала Капрара, который был ему чрезвычайно полезен.

Однажды утром я видела консула – или, лучше сказать в этом случае, генерала, – делающего смотр многочисленным и великолепным войскам, которые были призваны в Брюссель. Ничего нельзя представить себе более опьяняющего, чем встреча, которую оказывали Бонапарту войска в эту эпоху. Но нужно также было видеть, как он говорил с солдатами, как он их расспрашивал, одного за другим, об их кампании, об их ранах, как он особенно хорошо относился к тем, кто был с ним в Египте. Я слышала от госпожи Бонапарт, что ее супруг долго сохранял привычку, ложась в постель по вечерам, изучать кадровые списки войск. Он так и засыпал над названиями корпусов и перечнем лиц, входивших в состав его собственного корпуса. Обыкновенно он сохранял их в уголке своей памяти, и это чудесно служило ему в тех случаях, когда нужно было узнать солдата и доставить ему удовольствие быть выдвинутым его генералом.

Бонапарт держался с военными добродушного тона, который их очаровывал, всем им говорил «ты» и напоминал о тех военных подвигах, которые они совершили вместе.

Позднее, когда его армия сделалась столь многочисленной, а битвы – столь смертоносными, он уже презирал этот способ очаровывать. Притом смерть унесла столько воспоминаний, что через несколько лет стало слишком трудно отыскать сотоварищей его первых подвигов. Когда Бонапарт обращался с речью к солдатам, призывая их на битву, он не мог уже обращаться к ним как к поколению, непосредственно связанному с предыдущим, которому прежняя, исчезнувшая, армия завещала свою славу. Но эта новая манера возбуждать их храбрость еще долго удавалась ему по отношению к нации, которая верила, что исполняет свое назначение, ежегодно умирая за него.

Я говорила, что Бонапарт очень любил вспоминать свою египетскую кампанию, и действительно, он всего охотнее воодушевлялся, говоря о ней. Он взял с собой в это путешествие Монжа, ученого, которого сделал сенатором и которого особенно любил, просто потому, что тот был в числе членов Института, которые сопровождали его в Египет. Часто Бонапарт вспоминал с ними об этой экспедиции, «этой стране поэзии, – как говорил он, – которую попирали Цезарь и Помпей». Бонапарт с энтузиазмом возвращался к тому времени, когда он показался перед изумленными жителями Востока как новый пророк. Эта победа над умами – пожалуй, самая полная из всех, – казалась ему самой желанной. «Во Франции, – говорил он, – мы всего должны добиваться при помощи доказательства, в Египте, Монж, мы не нуждались в нашей математике».

В Брюсселе я начала немного привыкать к манерам Талейрана. Презрительное выражение его лица и склонность к насмешкам не слишком мне импонировали. Однако, так как праздность придворной жизни делает иногда день сточасовым, оказалось, что мы провели многие из них вместе в одном салоне, ожидая, когда Первому консулу вздумается появиться или уйти. В один из таких моментов скуки я расслышала, как Талейран жалуется, что его семья не пошла навстречу проектам, которые он для нее составил. Его брат, Аршамбо де Перигор, был изгнан. Он был обвинен в том, что позволил себе насмешливую манеру говорить, довольно обычную в этой семье, но он применил ее к лицам, слишком высокопоставленным; притом знали, что он отказался выдать за Евгения Богарне свою дочь и предпочел отдать ее замуж за графа Жюста де Ноайля. Талейран, который желал этой свадьбы так же, как и госпожа Бонапарт, порицал поведение брата, и я хорошо понимала, что с точки зрения личной политики он был заинтересован в подобном союзе.

Когда я начала беседовать с Талейраном, меня прежде всего поразило то, что он оказался лишен каких бы то ни было иллюзий или энтузиазма относительно совершавшегося вокруг нас. Весь двор испытывал этот энтузиазм в большей или меньшей степени. Полное подчинение военных легко могло принять оттенок преданности, и такая преданность действительно существовала у некоторых из них. Министры подчеркивали или испытывали глубокое восхищение; Маре по всякому поводу демонстрировал культ Бонапарта; Бертье спокойно верил в

реальность его дружбы; казалось, что каждый более или менее испытывает какие-то чувства. Ремюза старался любить занятие, которому отдался, и уважать того, кто ему это занятие предписывал. Что касается меня, я не упускала случая волноваться и обманываться.

Спокойствие, безразличие Талейрана меня смущало. «Боже мой! – решила я ему однажды сказать. – Как можно жить и действовать, не получая никакого впечатления ни от того, что происходит, ни от своих поступков?» – «О, насколько вы женщина и как вы молоды!» – отвечал он и начинал насмехаться надо мной, как и над всеми остальными. Его насмешки оскорбляли меня однако они же заставляли меня улыбаться. Я сознавала, что, как бы против своей воли, испытываю удовольствие от его остроумных насмешек: моему самолюбию льстило, что я могла понимать его ум, благодаря этому меня меньше возмущала сухость, которую я находила в его сердце. Притом я его еще не знала, и только гораздо позднее, освободившись от ощущения неловкости, в которую он ставил всегда тех, кто приближался к нему в первый раз, я могла наблюдать странное смешение, которое представлял его характер.

После Брюсселя мы посетили Льеж и Маастрихт и возвратились в старую Францию через Мельер и Седан. Госпожа Бонапарт была в этом путешествии очаровательна и оставила о своей доброте и грации воспоминание, которое пятнадцать лет спустя я нашла неизгладившимся.

Мы возвратились в Париж с радостью; я снова находилась в кругу своей семьи и, свободная от придворной жизни, с наслаждением отдавалась ей. Мы оба, Ремюза и я, были утомлены праздной, но беспокойной пышностью, в которой провели шесть недель. Для нас ничто не могло сравниться с тихими прелестями тесно сплоченной семейной жизни, в окружении нежных привязанностей и самых естественных чувств.

Когда Первый консул приехал в Сен-Клу, его и госпожу Бонапарт приветствовали депутаты различных учреждений, судов и т. п.; дипломатический корпус также нанес ему визит. Спустя некоторое время он постарался придать большее величие ордену Почетного легиона и назначил его канцлером графа Ласепада.

После падения Бонапарта либеральные писатели, и в числе их госпожа де Сталь, предали это учреждение своего рода анафеме, напоминая одну английскую карикатуру, которая представляла Бонапарта вырезающим кресты из красного колпака. Однако если бы он не злоупотреблял этим учреждением (равно как и всеми остальными), можно было бы только приветствовать изобретение награды, которая побуждала ко всякого рода заслугам, не становясь для государства слишком тяжелым бременем. Сколько подвигов на поле битвы заставил совершить этот кусочек ленты! И если бы он давался только за заслуги, если бы из него не сделали отличия, вручаемого часто по капризу, мне кажется, это была бы благородная идея – уравнивать все услуги, оказанные родине, какого бы рода они ни были, и награждать их все одинаковым способом.

Когда речь идет о нововведениях Бонапарта, надо остерегаться осуждать их без рассмотрения. Большинство из них имеет полезную цель и могло бы быть обращено на благо нации; но его неумеренная любовь к власти портила их затем по его капризу. Возмущаясь всякими препятствиями, он не выносил также и те, которые происходили от его собственных начинаний, и дискредитировал их, принимая решения внезапные и произвольные.

Создав в течение этого года различные представительства, он дал Сенату канцлера, казначея и преторов. Канцлером был назначен Лаплас, которого Бонапарт уважал как ученого и который нравился ему потому, что умел хорошо льстить. Двумя преторами были генералы Лефевр и Серюрье, а де Фарт был казначеем.

Республиканский год закончился, как обыкновенно, в середине сентября, а годовщина Республики была ознаменована большими празднествами, проводимыми с королевской пышностью во дворце Тюильри. В то же время узнали, что ганноверцы, побежденные генералом Мортье, устроили в день рождения Первого консула празднование. Таким образом, мало-

помалу, сначала во главе всего, а затем и один, Бонапарт приучал Европу видеть Францию только в его лице, представляя ее вместо всех остальных.

Так как он сознавал, что встретит противодействие со стороны представителей старшего поколения, то рано и довольно ловко начал привлекать молодежь, которой открыл все двери для движения вперед. Он устроил кандидатов в различные министерства, дал ход всевозможным честолюбиям как в военной, так и в гражданской карьере. Бонапарт часто говорил, что предпочитает, чтобы народом правили молодые, и до известной степени находил для этого возможности.

Первый консул обсуждал в этом году и учреждение суда присяжных. Я слышала, как говорили, что Бонапарт не имеет к нему никакого расположения; но его Государственный совет показал себя твердым по этому пункту, и, несмотря на желание управлять в дальнейшем гораздо более самостоятельно, без помощи собраний, которых он опасался, Первый консул был вынужден сделать некоторые уступки самым выдающимся членам Совета.

Во всех крупных городах Франции учредили лицеи, и изучение древних языков, уничтоженное во время революции, снова сделалось обязательным в системе народного образования.

Между тем большие приготовления шли во флотилии плоскодонных кораблей, которая должна была служить для экспедиции в Англию. Со дня на день увеличивались шансы, в случае тихой погоды, отправить ее к берегам Англии. Говорили, что консул сам будет командовать экспедицией, и это предприятие, казалось, не превышало возможностей ни его смелости, ни его удачи. Наши газеты изображали Англию взволнованной и обеспокоенной, и, в сущности, английское правительство не было чуждо известных опасений по этому поводу. «Монитор» всегда вел ожесточенную войну против свободных английских газет, и брошенные перчатки поднимались с обеих сторон. Во Франции применили закон о рекрутском наборе, и многочисленные солдаты уже собирались под знамена. Спрашивали о причинах такого вооружения, обсуждали замечания, подобные нижеследующему, как бы случайно разбросанные по страницам «Монитора»: «Английские журналисты подозревают, что большие приготовления к войне, о которых Первый консул издал распоряжения в Италии, предназначены для Египта».

Никакого отчета не было дано французской нации. Но французы испытывали по отношению к Бонапарту доверие, подобное тому, какое внушает магия легковерному уму; и, так как успех его предприятий был неоспорим в глазах народа, естественно увлеченного удачей, Бонапарту нетрудно было получить молчаливое согласие на все свои действия. С этого времени небольшое число догадливых людей начало замечать, что он не будет для нас полезным человеком, но, так как страх перед революционным правительством все-таки провозглашал его нужным человеком, опасались, протестуя против него, облегчить дела партии, которую, казалось, он один мог сдерживать.

А Бонапарт, всегда энергичный и деятельный, стремился не оставлять умы в покое, который ведет к размышлению, и распространять во все стороны беспокойство, которое должно было служить ему. Было напечатано письмо графа д'Артуа, извлеченное из «Морнинг Кроникл», в котором английскому королю предлагались услуги эмигрантов в случае вылазки; носились слухи о некоторых попытках заговоров в восточных департаментах; с тех пор как война в Вандее сменилась бесславными беспорядками, которые наводили шуаны, общество привыкло к идее, что любое движение, которое возникнет в стране, не поведет ни к чему другому, кроме грабежа и пожара. Наконец, истинную возможность покоя видели только в сохранении установленного правительства; и теперь некоторые друзья свободы оплакивали ее потерю, несмотря на либеральные учреждения (испорченные на их глазах потому, что были задуманы абсолютной властью), и делали заявления, подобные следующим: «После стольких бурь, среди борьбы стольких партий только сила может дать нам свободу, и, поскольку именно сила стремится сейчас поддержать принципы порядка и морали, мы не должны думать, что

отклоняемся от истинного пути, так как в конце концов создатель исчезнет, но созданное им останется у нас».

А «создатель», в то время, когда волновались по поводу его распоряжений, постоянно пребывал в состоянии полного спокойствия. В Сен-Клу он снова возвратился к жизни размеренной, и мы проводили наши дни так, как я их уже описывала. Все его братья были заняты: Жозеф – в лагере в Булони, Луи – в Государственном совете, Жером, самый молодой, – в Америке, куда он был послан и где был очень хорошо принят³⁴. Сестры, начав пользоваться большим состоянием семьи, украшали дома, которые им подарил Первый консул, и старались перещеголять одна другую роскошью обстановки. Евгений Богарне погрузился в исполнение своих военных обязанностей; его сестра жила тихо и довольно печально.

Молодая госпожа Леклерк отдавалась новой страсти, которую она внушила принцу Боргезе (недавно приехавшему во Францию из Рима) и которую она разделяла. Этот принц просил ее руки у Бонапарта, который, по причине, мне неизвестной, сначала противился этому предложению. Быть может, его тщеславие не позволяло ему казаться польщенным какими бы то ни было связями, и он не желал показать вида, что с радостью принимает первое же предложение. Но когда связь этих двух лиц сделалась известной, он наконец согласился ее легализовать браком, который и совершился в Мортелефонте, во время пребывания суда в Булони.

Бонапарт поехал осматривать лагерь и флотилию 3 ноября 1803 года; это путешествие было чисто военным. Он велел сопровождать себя только генералам своей гвардии, адъютантам и Ремюза.

Прибыв в Понт-де-Брик, маленькое селение на расстоянии одного лье от Булони, где Бонапарт велел организовать свою главную квартиру, мой муж опасно заболел. Как только я об этом узнала, поспешила к нему и прибыла в этот Понт-де-Брик в середине ночи. Отдавшись всецело своему беспокойству, я думала только о состоянии, в котором найду своего дорогого больного, но, когда вышла из экипажа, была смущена, очутившись одна среди лагеря и не зная, что подумает консул о моем прибытии. Однако меня успокоили: слуги, которые встали, чтобы встретить меня, рассказали, что мое прибытие предвидели и оставили мне еще два дня тому назад маленькую комнату. Я провела в ней остаток ночи, ожидая утра, чтобы показаться на глаза своему мужу, не нарушая его покой. Я нашла его очень подавленным, но он проявил такую радость, видя меня у своей постели, что я поздравила себя с тем, что поехала, не испросив разрешения.

Проснувшись, Бонапарт позвал меня к себе; я была взволнована и немного смущена; он это заметил, как только я вошла в комнату. Тогда он поцеловал меня, усаживая, и успокоил меня первыми же словами: «Я ждал вас. Ваше присутствие вылечит вашего мужа». При этих словах я расплакалась. Он был, по-видимому, тронут и постарался меня успокоить, предписав приходить к нему каждый день обедать и завтракать, для того чтобы, как он сказал, смеясь, «понаблюдать за женщиной ваших лет, очутившейся таким образом среди стольких военных».

Затем Бонапарт спросил, в каком состоянии я оставила его жену. Незадолго до его отъезда несколько новых тайных визитов мадемуазель Жорж вызвали столкновение в семье. «Она волнуется, – прибавил он, – гораздо больше, чем следует. Жозефина всегда боится, как бы я серьезно не влюбился, – значит, она не знает, что любовь существует не для меня. Так как, в самом деле, что такое любовь? Страсть, которая оставляет весь мир в стороне, чтобы видеть, признавать только любимый предмет. А я, конечно, совсем не склонен отдаваться такой исключительности. Что же ей до тех развлечений, в которых несколько не участвует мое чувство? Вот, – продолжал он, глядя на меня несколько строго, – в чем должны убеждать ее друзья, а особенно пусть они не надеются увеличить свое влияние на нее, увеличивая ее беспокойство». В этих последних словах заметен был оттенок недоверия и строгости, которых я не заслужи-

³⁴ Люсьен к этому времени уже женился на госпоже Жубертон и поссорился с братом.

вала, и мне кажется, он это знал тогда очень хорошо, но ни в коем случае не хотел отступить от своей излюбленной системы, которая заключалась в том, чтобы держать умы в состоянии беспокойства.

После моего приезда Бонапарт пробыл в Понт-де-Брик около десяти дней. Муж мой был болен серьезно, но доктора не беспокоились. За исключением четверти часа, занятой завтраком с консулом, я проводила все время в комнате моего больного. Бонапарт ежедневно посещал лагерь, осматривал войска, флотилию, присутствовал на небольших сражениях или, вернее, при обмене выстрелами между нами и англичанами, которые беспрерывно курсировали перед портом и старались помешать рабочим.

В шесть часов Бонапарт возвращался и тогда звал меня к себе. Иногда он приглашал к обеду некоторых военных, живущих в его доме, морского министра или директоров путей сообщения, которые его сопровождали. Иногда мы обедали тет-а-тет, и тогда он говорил о самых разнообразных вещах. Он рассказывал о своем собственном характере, изображал себя всегда несколько меланхолическим, вне всякого сравнения со своими товарищами. Моя память очень точно хранит воспоминание обо всем, что он рассказывал во время этих бесед. Вот о чем приблизительно шла речь:

«Я был воспитан, – говорил он, – в военной школе, но обнаруживал расположение только к точным наукам. Все говорили обо мне: «Этот ребенок способен только к геометрии». Я жил в отдалении от моих товарищей. Избрав уголок, я усаживался, чтобы помечтать, так как всегда был склонен к мечтательности. Когда товарищи хотели завладеть этим уголком, я защищал его всеми силами. У меня тогда уже было инстинктивное сознание, что моя воля должна господствовать над волей других и что то, что мне нравится, должно принадлежать мне. Меня недолюбливали в школе; для того чтобы заставить любить себя, нужно время, но даже когда мне нечего было делать, мне всегда смутно казалось, что я ничего не теряю.

Когда я поступил на службу, то скучал в своих гарнизонах и принялся читать романы: это чтение меня живо интересовало. Я пробовал даже писать романы; это занятие порождало неопределенные мечты, и они смешивались с точными знаниями, которые я приобрел; порой я развлекался мечтами, чтобы сравнивать затем эти мечты с точностью моих рассуждений. Я отдавался мыслью идеальному миру и старался определить, чем он отличался от мира реального.

Я всегда любил анализ: если бы я был серьезно влюблен, то разложил бы свою любовь на составные части. Зачем и почему – полезные вопросы, которые всегда надо задавать себе.

Я меньше изучал историю, чем завоевывал ее. Это значит, что я выбирал и запоминал из нее только то, что могло дать лишнюю идею, пренебрегая ненужным и пользуясь известными результатами, которые мне нравились. Я не много понимал в революции, однако она могла принести мне пользу. Равенство, которое привело к моему возвышению, увлекало меня. Двадцатого июня 1792 года я был в Париже, видел, как чернь шла против Тюильри. Я никогда не любил народных движений и был возмущен грубым поведением этих несчастных; я находил, что вожди, поднявшие их, поступили неосторожно, и говорил себе: «Выгоды от этой революции получают не они». Но когда мне сказали, что Людовик надел на голову красный колпак, я пришел к заключению, что он перестал царствовать, так как в политике нельзя подняться после унижения.

Десятого августа я почувствовал, что, если бы меня призвали, я защищал бы короля³⁵; я восставал против тех, кто позволял народу основать Республику; я видел, как люди в куртках нападали на людей в мундирах, и это меня шокировало. Позднее я изучил военное искусство – отправился в Тулон; мое имя становилось известным. По возвращении я вел праздную жизнь. Не знаю, какое тайное внушение предупреждало меня о том, что надо пользоваться моментом.

³⁵ 10 августа 1792 года Людовик XVI был окончательно свергнут и заключен под стражу.

Однажды вечером я был на спектакле; это было 12-го вандемьера [3 октября 1795 года]. И слышу разговоры о том, что на следующий день ожидают «du train», смену состава, – вы знаете, что это обычное выражение парижан, которые привыкли равнодушно видеть разнообразные смены правительства, пока они не мешают ни их делам, ни их удовольствиям, ни даже их обедам. После террора были довольны всем, что давало возможность жить.

В моем присутствии говорили, что собрание объявило свои заседания непрерывными, я побежал туда, но увидел только смятение и колебание. Вдруг из глубины залы раздался голос, сказавший: «Если кто-нибудь знает адрес генерала Бонапарта, то ему просят передать, что его ожидают в комитете собрания». Я всегда любил придавать значение случаю, который вмешивается в известные события; этот последний решил дело: я отправился в комитет.

Я встретил там некоторых депутатов, совершенно перепуганных, и между прочими – Камбасереса. Он ожидал на следующий день нападения и не знал, на что решиться. У меня спросили совета; моим ответом была просьба дать мне пушки. Это предложение их ужаснуло. Вся ночь прошла в нерешимости. Утром вести были очень неблагоприятными. Тогда мне поручили все дело, а затем начали рассуждать о том, имеют ли право отвечать на силу силой. «Думаете ли вы, – отвечал им я, – что народ даст вам позволение стрелять в него? Я скомпрометирован, так как вы меня назначили; теперь справедливо, чтобы вы предоставили мне свободу действий». С этими словами я покинул этих адвокатов, которые тонули в собственном красноречии. Я двинул войска и поставил две пушки на улице Сен-Рок; эффект был ужасен: буржуазная армия и заговорщики были сметены в одну минуту.

Но я пролил кровь парижан! Какое святотатство! Надо было сгладить впечатление. Между тем с каждым днем я чувствовал себя все более и более призванным к чему-то и попросил командование Итальянской армией. Все было неустроено в этой армии – и вещи, и люди. Только юность способна к терпению, потому что у нее еще все впереди. Я отправился в Италию с солдатами жалкими, но полными воодушевления. Я велел везти в середине войска эскортированные фургоны – хотя и пустые, но которые называл «сокровищем армии». Я велел раздавать рекрутам башмаки, – никто не пожелал их носить. Я обещал своим солдатам, что за Альпами нас ожидают счастье и слава, я сдержал слово, – и с этих пор армия шла за мной на край света.

Я провел прекрасную кампанию – и стал личностью для Европы. С одной стороны, при помощи военных приказов я поддерживал революционную систему; с другой – я втайне щадил эмигрантов и позволял им питать некоторые надежды. Подобным способом очень легко злоупотреблять, потому что он исходит не от того, что существует, но от того, что желательно. Я получал великолепные предложения на случай, если захочу последовать примеру генерала Монка. Претендент [будущий Людовик XVIII] даже написал мне письмо своим неуверенным и цветистым слогом. Я сумел лучше победить папу, избегая появляться в Риме, чем если бы сжег его столицу.

Наконец я сделался видным и опасным человеком, а Директория, которой я внушал беспокойство, не могла, однако, предъявить мне никакого внятного обвинения. Мне ставили в упрек, что я способствовал перевороту 18-го фрюктидора [4 сентября 1797 года]; это было то же, что упрекать меня в поддержке революции. Надо было воспользоваться ею, этой революцией, и воспользоваться кровью, которую она пролила. Что?! Отдаться, без всяких условий, принцам из дома Бурбонов, которые хвастались бы перед нами нашими же несчастиями, начавшимися после их отъезда, и предписали бы нам молчание, так как мы показали, что нуждались в их возвращении! Переменить наши победоносные знамена на это белое знамя, которое не побоялось смешаться с неприятельскими штандартами! А мне, наконец, мне удовлетвориться несколькими миллионами и каким-либо герцогством! Конечно, роль Монка не так трудна и доставила бы мне меньше хлопот, чем египетская кампания или 18-го брюмера; но приобре-

тают ли какой-нибудь опыт правители которые никогда не видели поля битвы?.. К чему другому привело англичан возвращение Карла II, если не к низложению Иакова³⁶?

Ясно, что я мог бы, если бы это было нужно, низложить во второй раз Бурбонов, но лучший совет, который им можно было дать, – поскорее отделаться от меня. Возвратившись во Францию, я встретил общественное мнение более смягченным, чем когда бы то ни было. В Париже – а Париж это и есть Франция, – никогда не заинтересуются вещами, если не интересуются лицами. Обычай древней монархии приучил вас все олицетворять. Это плохой способ для народа, который серьезно желал бы свободы; но вы ничего не можете желать серьезно, кроме, быть может, равенства, и притом и от него охотно бы отказались, если бы каждый мог льстить себя надеждой стать первым. Быть равным настолько, насколько все будут ниже, – вот секрет всего вашего тщеславия; поэтому надо давать всем надежду на возвышение.

Большое неудобство для директоров заключалось в том, что никто не заботился о них и начинали слишком заботиться обо мне. Не знаю, что случилось бы со мной, если бы не счастливая идея отправиться в Египет. Когда я сел на корабль, то не знал хорошенько, не навсегда ли прощаюсь с Францией; но я не сомневался в том, что она снова призовет меня. Искушение победы на Востоке отвлекло меня от мысли о Европе больше, чем я мог предполагать. Мое воображение и на этот раз примешалось к практике, но, кажется, затем умерло в Сен-Жан д'Акр. Что бы там ни было, я никогда больше не дам ему воли.

В Египте я был освобожден от тормозов стесняющей меня цивилизации; я мечтал обо всем на свете и видел способы выполнить все, о чем мечтал. Я создавал религию, уже видел себя по пути в Азию, едущим на слоне с тюрбаном на голове, держа в руке новый Коран, который сочиняю по своему желанию. Я соединил бы в своих начинаниях опыты двух миров, попирая право всех историй, нападая на английское могущество в Индии и возобновляя этой победой отношения со старой Европой.

Время, проведенное в Египте, было лучшим в моей жизни, потому что оно было самым идеальным. Но судьба решила иначе. Я получил письма из Франции; я видел, что нельзя терять ни минуты, и вернулся к реальному общественному положению, вернулся в Париж, в Париж, где самые важные общественные дела решают в антракте оперы.

Директория ужаснулась при моем возвращении; я контролировал себя: это одна из эпох моей жизни, когда я был особенно ловок. Я видел аббата Сийеса и обещал ему продвижение его многословной конституции. Я принимал вождей якобинцев, агентов Бурбонов; не отказывал никому в советах, но давал их только в интересах своих планов. Я скрывался от народа, так как знал, что, когда наступит время, любопытство видеть меня увлечет их по моим стопам. Каждый был более или менее связан с моими интересами, и, когда я сделался главой государства, во Франции не было ни одной партии, которая не возлагала бы каких-нибудь надежд на мой успех».

³⁶ Иаков II (1633–1701) – брат Карла II, был низложен в 1689 году в результате Славной революции.

Глава IV 1803–1804 годы

Продолжение бесед с Первым консулом в Булони – Чтение трагедии «Филипп-Август» – Мои новые впечатления – Возвращение в Париж – Ревность госпожи Бонапарт – Празднества зимы 1804 года – Фонтан – Футе – Савари – Пишегрю – Арест генерала Моро

В другой раз вечером, в то время, как мы были в Булони, Бонапарт завел разговор о литературе. Поэт Лемерсье, которого он любил, поручил мне привезти консулу трагедию «Филипп-Август», которую поэт только что закончил и в которой кое-что касалось личности самого Бонапарта. Первый консул хотел читать ее вслух; мы были только вдвоем. Было как-то неприятно видеть человека, который всегда спешит, даже когда ему нечего делать, – в борьбе с необходимостью произносить слова подряд, не прерываясь, принужденного читать александрийские стихи, размера которых он не знал и которые читал так плохо, что, казалось, сам не понимал того, что прочитывает. Притом, как только он открывал книгу, ему сразу хотелось высказать суждение.

Я попросила у него рукопись и стала читать сама; тогда он начал говорить, потом, в свою очередь, выхватил книгу, зачеркнул целые тирады, сделал несколько замечаний на полях, стал осуждать план и характеры. Он не рисковал ошибиться, так как пьеса была плоха³⁷. Мне показалось особенно странным, что после этого чтения Бонапарт показал мне, что не желает, чтобы автор подумал, будто все эти замечания и поправки были сделаны властной рукой, и приказал мне принять их на себя. Можно себе представить, как сильно я защищалась. Мне стоило большого труда отвратить его от этой фантазии и заставить понять, что если немного странно, что он вымарал и почти полностью изменил рукопись автора, то было бы совершенно неприлично, если бы подобной свободой злоупотребила я.

– Прекрасно, – сказал он, – но в этом, как и в других случаях, я признаюсь, что не очень-то люблю это неопределенное слово «приличия», которое вы выставляете по всякому поводу. Это выдумка глупцов, чтобы несколько приблизиться к людям умным, нечто вроде общественной затычки, которая стесняет сильного и служит только посредственности. Может быть, эти приличия для вас и удобны, для тех, кому нечего делать в этой жизни; но вы прекрасно чувствуете, что в моей жизни, например, представится случай, когда я вынужден буду их попирать.

– Но если применять их в жизни, – возразила я ему, – не явятся ли они до некоторой степени тем, чем определенные правила являются для драматических произведений?.. Они придают произведениям стройность и правильность и являются стеснением для гения только тогда, когда он хотел бы отдаться заблуждениям, осуждаемым хорошим вкусом!

– О! Хороший вкус – вот еще одно из классических выражений, которых я не признаю³⁸. Быть может, это моя вина, но есть известные правила, которых я не чувствую. Например, то, что называют «стилем», плохим или хорошим, несколько меня не трогает. Я чувствителен только к силе мысли. Сначала я любил Оссиана, но по той же причине, по которой люблю слушать рокот ветра или морских волн. В Египте меня хотели заставить читать «Илиаду» – мне было скучно. Что касается французских поэтов, то я признаю только Корнеля. Он понял политику и, если бы имел больше опытности в делах, был бы государственным человеком. Мне кажется, я могу оценить его лучше, чем кто-либо, потому что, судя о нем, исключая все драматические чувства. Например, недавно только я понял развязку «Цинны». Сначала я

³⁷ Эта пьеса никогда не была ни сыграна, ни даже напечатана (П.Р.).

³⁸ Талейран говорил однажды императору: «Хороший вкус – ваш личный враг. Если бы вы могли избавиться от него пушечными выстрелами, его давно не существовало бы».

видел в ней только способ создать патетический такт; и притом милосердие, собственно говоря, такая ничтожная, маленькая добродетель, если она не опирается на политику, что милосердие Августа, сделавшегося вдруг благодушным правителем, не казалось мне достойным концом этой прекрасной трагедии. Но однажды Монвель, играя в моем присутствии, открыл мне тайну этой великой концепции. Он произнес слова: «Будем друзьями, Цинна!» – таким искусным и хитрым тоном, что я прекрасно понял, что этот поступок был только лицемерием тирана, и признал как расчет то, что казалось мне наивным как чувство. Нужно всегда произносить эти стихи так, чтобы из всех слушающих обманутым был только Цинна.

Что касается Расина, он мне нравится в «Ифигении»: эта пьеса во все продолжение действия заставляет вас дышать поэтическим воздухом Греции. В «Британике» он был ограничен Тацитом, против которого у меня есть предубеждение, потому что он недостаточно объясняет то, что выдвигает. Трагедии Вольтера страстны, но не особенно проникают в психологию человека. Например, его Магомет не пророк, не араб. Это обманщик, который кажется воспитанным в Политехнической школе, потому что проявляет свое могущество так, как я мог бы это сделать в век, подобный нынешнему. Убийство отца сыном – бесполезное преступление. Великие люди никогда не бывают жестоки без необходимости³⁹.

Что касается комедии, то для меня это то же, что интересоваться сплетнями в ваших салонах; я признаю ваше удивление перед Мольером, но не разделяю его; он поставил действующих лиц своих комедий в такие рамки, в которых я никогда бы не решился видеть их действующими.

Нетрудно заключить на основании этих разнообразных мнений, что Бонапарт любил рассматривать человеческую природу только тогда, когда она находилась в борьбе с великими жизненными событиями, и что он мало заботился о человеке вне поля действия.

В таких разговорах с Первым консулом протекало время в Булони, и вскоре после этого путешествия я испытала первое недоверие ко двору, при котором должна была жить. Военные, жившие в нашем доме, иногда удивлялись, как может их господин проводить долгие часы с женщиной и беседовать о предметах, всегда довольно серьезных. Они вывели заключение, которое компрометировало мое положение, совершенно простое и совершенно мирное. Я осмеливаюсь сказать: моя душевная чистота, чувства, на всю жизнь привязавшие меня к моему мужу, не позволяли мне понять подозрения, которые делались на мой счет в передней консула, в то время как я слушала его в салоне. Когда он возвратился в Париж, его адъютанты забавлялись пересказом наших длинных бесед с глазу на глаз. Госпожа Бонапарт испугалась, наслушавшись этих рассказов, и, когда после месячного пребывания в Понт-де-Брике мой муж почувствовал себя достаточно окрепшим, чтобы перенести путешествие, и мы возвратились в Париж, я нашла мою ревнивую покровительницу несколько охладевшей.

Я же вернулась воодушевленная удвоенной благодарностью по отношению к Первому консулу. Он так хорошо меня принял, проявил так много внимания к тому, чтобы сохранить моего мужа; наконец, его заботы, которые трогали мою тревожную и смущенную душу, развлечение, которое он мне доставил в этом уединении, и маленькое удовлетворение моего тщеславия, которому льстило удовольствие, по-видимому, доставляемое моим присутствием, – все это подогрело мои чувства, и в первые дни по приезде я повторяла с живостью такой благодарности, какая бывает в 20 лет, что его доброта ко мне была неизмерима. Одна из моих подруг, которая любила меня, посоветовала мне умерить выражения и обратить внимание на впечатление, какое они вызывают. Помню до сих пор, что ее слова произвели на меня впечатление холодного и острого лезвия, которое мне вдруг вонзили в сердце. В первый раз я видела, что обо мне судят не так, как я того заслуживаю; моя молодость, мои чувства протестовали

³⁹ В трагедии «Фанатизм, или Пророк Магомет» сын шейха Мекки, Сеид, убивает своего отца, подчиняясь уговорам Магомета.

против таких обвинений; нужно достигнуть долгой, но печальной опытности, чтобы суметь спокойно переносить несправедливость общественного суда, хотя, быть может, стоит пожалеть о временах, когда он поражал так сильно, но не так остро.

Между тем то, что мне говорили, объяснило перемену госпожи Бонапарт по отношению ко мне. Однажды, будучи пораженной больше обыкновенного, я не могла удержаться, чтобы не сказать ей со слезами на глазах: «Неужели вы меня подозреваете?» Так как она была добра и подвержена впечатлению минуты, то не обратила внимания на мои слезы, но поцеловала меня и отнеслась ко мне так же, как прежде. Но госпожа Бонапарт не совсем поняла меня; в ее душе не было того, что могло бы понять справедливое негодование моей души; ее не смущало то, что мои отношения с ее мужем могли быть такими, какими ей старались их представить, ей достаточно было для успокоения решить, что, во всяком случае, эти отношения могли быть мимолетны, так как ничто в моем поведении в ее глазах не отличалось от прежней сдержанности. Наконец, чтобы оправдаться в моих глазах, она сказала мне, что семейство Бонапарта во время моего отсутствия первое распространило эти оскорбительные слухи. «Вы не видите, – заметила я ей, – справедливо это или нет, но здесь думают, что нежная привязанность к вам делает меня догадливой по отношению к тому, что совершается вокруг вас, а мои советы – очень слабая помощь, однако они могут добавить к вашей предосторожности и мою. Политическая зависть, мне кажется, с недоверием относится ко всему, и я думаю, что, как ни ничтожна моя особа, нас хотели бы поссорить». Госпожа Бонапарт признала справедливость этого размышления, но даже не подумала, как долго я могла огорчаться тем, что не ей первой оно пришло в голову.

Она призналась мне, что делала своему мужу упрёки по отношению ко мне и что его, по-видимому, забавляло ее беспокойство на мой счет. Все эти маленькие открытия испугали меня, а затем меня смутило чувство, с которым я к ним отнеслась. Я начала чувствовать, как колеблется под моими ногами почва, по которой я до сих пор ходила с доверчивостью неопытности. Я почувствовала, что познала беспокойство, которое не покинет меня, по-видимому, никогда.

Уезжая из Булони, Первый консул велел записать в военном приказе, что доволен армией, а 12 ноября 1803 года мы прочитали в «Мониторе» следующие слова:

«Сочли предзнаменованием то, что, копая землю для устройства лагеря Первого консула, нашли военный топор, который, по-видимому, принадлежал римскому войску, завоевавшему Англию. В Амблетезе, устанавливая палатку Первого консула, нашли медаль Вильгельма Завоевателя. Нужно признать, что эти обстоятельства по меньшей мере странны и покажутся еще более необыкновенными, если припомнить, что, посетив развалины Пелузиума в Египте, генерал Бонапарт нашел там камю Юлия Цезаря».

Сравнение выбрали не особенно удачно, так как, несмотря на камю Юлия Цезаря, Бонапарт был вынужден покинуть Египет, но эти маленькие сближения, продиктованные изобретательной лестью Маре, бесконечно нравились его господину, который, впрочем, думал, что они производят некоторый эффект и среди нас.

Ничего не забыли в эту эпоху для того, чтобы все газеты подогревали воображение относительно высадки. Я не могу сказать, верил ли действительно Бонапарт, что она возможна. По крайней мере, он делал вид, что верит в это, тем более что расходы на сооружение плоскодонных кораблей были очень значительны. Взаимные оскорбления между «Монитором» и английскими газетами продолжались так же, как и вызовы. «Говорят, что французы обратили Ганновер в пустыню и собираются его покинуть», – вот что печатал «Таймс», и тотчас же заметка в «Мониторе» отвечала: «Как только вы покинете Мальту».

Пастырские послания епископов призывали нацию вооружиться для справедливой войны. «Выбирайте людей с сердцем, – говорил епископ Арраса, – и идите сражаться с ама-

ликитянами⁴⁰». «Подчиниться голосу народа, – сказал Боссюэ, – значит подчиниться голосу самого Бога, который установил власть».

Эта цитата из Боссюэ напоминает мне анекдот, который очень хорошо рассказывал старый епископ Эвре, Бурлье. Это было в эпоху собора, созванного в Париже, чтобы победить епископов и противодействовать решениям папы. «Иногда, – говорил мне этот епископ, – император созывал нас и начинал теологические беседы. Он обращался к самым упрямым среди нас: «Господа епископы, моя религия – это религия Боссюэ, он мой отец церкви и защищал наши свободы; я хочу сохранить его дело и поддержать ваше собственное достоинство, слышите ли вы, господа?»

И говоря таким образом, бледный от гнева, он хватался за эфес шпаги; он заставлял меня трепетать при виде горячности, с которой он был готов взяться за нашу защиту, и эта странная смесь из имени Боссюэ, слова «свобода» и угрожающего жеста вызвала бы у меня охоту улыбнуться, если бы я не был, в сущности, очень огорчен церковными распрями, которые уже тогда предвидел».

Я возвращаюсь к зиме 1804 года. Эта зима, как и предшествовавшая, прошла в празднествах и балах для двора и города, но в то же время продолжали проводить новые законы, которые были представлены на сессию Законодательного корпуса. В этом году госпожа Баччиокки, которая имела очень явную склонность к Фонтану, так часто говорила о нем своему брату, что эти разговоры, вкуче с мнением, которое он имел об этом академике, склонили его назначить Фонтана председателем Законодательного корпуса. Этот выбор показался некоторым лицам странным, но, в сущности, представляя, что Бонапарт хотел сделать из Законодательного корпуса, ему и не нужно было назначать президентом никого иного, кроме литератора. Фонтан демонстрировал благородное и изящное искусство, когда нужно было обращаться к императору с речью в самых трудных обстоятельствах. В его характере мало силы, но талант придает ему эту силу, когда он должен говорить публично; тонкий вкус ему внушает тогда настоящий подъем. Может быть, это и было недостатком, так как ничто так не опасно для правителей, как видеть, что талант облакает их злоупотребление властью цветами красноречия, и в особенности это опасно для Франции, где царствует такой культ формы. Как это часто случалось с парижанами, в той тайной комедии, которую правительство разыгрывало перед ними, они добродушно становились жертвами, и только потому, что актеры отдавали должное тонкости их вкуса, требовавшего, чтобы каждый играл возможно лучше роль, которая ему была поручена!

В течение января «Монитор» поместил заметку из английских газет, в которой говорилось о некоторых разногласиях между Баварией и Австрией и о возможности континентальной войны. Такие замечания бросались мимоходом, время от времени, словно чтобы предупредить нас о том, что может произойти. Так бывает в оперной декорации, а еще вернее, на небе, когда облака скапливаются ниже вершины горы и рассеиваются на минуту, чтобы открыть то, что совершается за ними. Таким же образом все более или менее важные обсуждения, которые происходили в Европе, на минуту показывались нам, чтобы мы не были слишком изумлены, когда они вызовут какой-нибудь разрыв. Но затем тучи смыкались снова, и мы оставались во тьме до тех пор, пока не разразится гроза.

Я касаюсь эпохи очень важной, но которую тяжело описывать. Вскоре я буду говорить о заговоре Жоржа Кадудаль и о преступлении, которое было им вызвано. Приведу здесь относительно генерала Моро только то, что слышала, и не буду ничего утверждать. Мне кажется необходимым предпослать этому рассказу краткий обзор состояния, в котором мы тогда находились.

⁴⁰ Амаликитяне – арабский народ, весьма могущественный в период между Исходом израильтян из Египта и правлением царя Саула (ок. 1020 г. до н. э.). Согласно Библии, один из основных и постоянных врагов израильтян.

Известная часть людей, которые довольно близко стояли у дел, начинала говорить о необходимости для Франции наследственной правительственной власти. Некоторые придворные политики, добросовестные революционеры, люди, которые считали, что покой Франции зависит от жизни одного человека, сходились на неустойчивости Консульства. Мало-помалу идеи приблизились к монархии, и это направление имело бы свои преимущества, если бы могли согласиться на монархию, ограниченную законами. Революции имеют то важное неудобство, что разделяют общественное мнение на бесконечные оттенки, которые изменяются в результате столкновений, испытываемых каждым в различных обстоятельствах. И это всегда благоприятствует начинаниям, на которые покупается деспотизм, идущий вслед за ними. Чтобы сдержать власть Наполеона, надо было решиться произнести слово «свобода»; но, поскольку за несколько лет перед этим оно было начертано во Франции везде и всюду только для того, чтобы служить эгидой самому кровавому рабству, никто не решался преодолеть роковое впечатление, хотя и малопродуманное, какое оно внушало.

Однако роялисты беспокоились и видели, что с каждым днем Бонапарт все более и более удаляется от того пути, на котором они его долго ждали. Якобинцы, оппозиции которых Первый консул боялся сильнее, глухо волновались. Они находили, что правительство старается дать гарантии их противникам. Конкордат, авансы, которые делали по отношению к старому дворянству, уничтожение революционного равенства, – все это было завоеванием их. Счастлива, сто раз счастлива была бы Франция, если бы Бонапарт совершил это завоевание только применительно к партиям! Но для этого надо быть воодушевленным исключительно любовью к справедливости; нужно в особенности слушать лишь голос великодушного ума.

Когда правитель, какой бы титул он ни носил, входит в сношения с той или иной из крайних партий, порожденных гражданскими смутами, можно всегда держать пари, что у него имеются намерения, враждебные правам граждан, которые доверились ему. Бонапарт, желая укрепить свой деспотический план, был вынужден вступить в сношения с этими опасными якобинцами и, к несчастью, принадлежал при этом к числу людей, которые видят достаточные гарантии только в преступлении. Их можно успокоить, только беря на себя некоторые из их беззаконий. Этот расчет сыграл большую роль в вынесении приговора герцогу Энгиенскому, и я убеждена, что все, что совершалось в эту эпоху, происходило не от какого-либо жестокого чувства, не от слепой мести, а было только результатом совершенно макиавеллистической политики, которая желала расчистить себе дорогу любой ценой. Не для удовлетворения ненасытного тщеславия Бонапарт стремился переменить свой титул консула на титул императора. Не нужно думать, что его всегда слепо увлекали страсти; он знал искусство подчинять их анализу своих расчетов, а если в дальнейшем сильнее отдавался им, то это потому, что успех и лесть мало-помалу опьянили его. Эта комедия Республики и равенства, которую приходилось играть в эпоху Консульства, надоела ему, и могла, в сущности, обмануть только тех, кто желал быть обманутым. Она напоминала притворство времен Древнего Рима, когда императоры периодически заставляли Сенат переизбирать себя. Я встречала людей, которые, украшая себя, как тогой, известной любовью к свободе и не переставая, однако, постоянно ухаживать за Бонапартом, Первым консулом, говорили затем, что лишили его своего уважения, как только он принял титул императора. Я никогда не могла хорошенько понять их мотивов. Каким образом власть, которой он пользовался почти со времени своего вступления в правительство, не открыла им глаза? Нельзя ли сказать, напротив, что была известная добросовестность в том, чтобы принять титул, соответствующий власти, которая фактически существовала?

Как бы то ни было, в тот момент, о котором я говорю, Первому консулу необходимо было упрочить свою власть какой-нибудь новой мерой. Англичане, которым угрожали, чинили всякого рода препятствия проектам, направленным против них, возобновлялись сношения с шуанами, и роялисты должны были видеть в консульском правительстве только переход от Дирек-

тории к восстановлению королевской власти. Но один человек мог все изменить; естественно было заключить, что надо отделаться от этого человека.

Я слышала от Бонапарта летом 1804 года, что на этот раз события вынудили его и что его план состоит в основании Империи, но только через два года. Он поручил полицию министру юстиции; это была здравая и нравственная идея, но ей противоречило намерение, чтобы магистратура применяла эту полицию так же, как в то время, когда она была учреждением революционным. Как я уже говорила, первые замыслы Бонапарта часто были хороши и велики. Создать и утвердить их значило применять его власть, но подчиняться им впоследствии становилось для него же отречением. Он не мог переносить господства даже своих собственных учреждений. Таким образом, стесненный медленными и урегулированными судебными процедурами, а также слабым и крайне посредственным умом своего верховного судьи, он вверил себя тысяче и одной полиции и мало-помалу снова стал доверять Фуше, который в полной мере обладал способностью сделать себя необходимым. Фуше, одаренный обширным, тонким и проницательным умом, разбогатевший якобинец, в конце концов начавший испытывать отвращение к некоторым принципам своей партии, но сохраняющий с ней связь, чтобы иметь опору в случае беспорядков, нисколько не отступил перед идеей облечь Бонапарта монархической властью. Прирожденная гибкость заставляла его всегда принимать те формы правления, в которых имелась возможность сыграть роль ему самому. Его привычки были более революционны, чем его принципы; я думаю, что он не вынес бы только такого положения вещей, которое привело бы его к уже совершенному ничтожеству. Надо всегда помнить эти черты Фуше и всегда несколько опасаться, когда приходится иметь с ним дело; нужно признать, что ему необходимы времена смут, чтобы обладать всей силой своей власти, потому что в самом деле, так как это человек, лишенный страстей и ненависти, в такие времена он превосходит большинство людей, его окружающих, более или менее ослепленных страхом и желанием мести.

Фуше отрицал, что посоветовал убить герцога Энгиенского. Если не существует полной уверенности, я никогда не возлагаю тяжесть обвинения в преступлении на того, кто это прямо отрицает. Впрочем, Фуше, который обладал способностью предвидения, легко мог предполагать, что это преступление может дать партии, которую Бонапарт хотел привлечь, только очень мимолетную гарантию. Он слишком хорошо знал консула, чтобы бояться, что тот хотел бы восстановить короля на троне, который мог бы занять сам, а потому легко понять, как на основании своих данных Фуше признал, что это убийство было ошибкой.

Талейран менее, чем Фуше, нуждался в поисках подхода, чтобы посоветовать Бонапарту облечь себя монархической властью: она должна была создать Первому консулу удобное положение во всех отношениях. Враги Талейрана и даже сам Бонапарт обвинили его в том, что он подавал голос за убийство несчастного герцога; но Бонапарт и его враги сами заслуживают подозрения по этому пункту. Всем известный характер Талейрана не допускает подобной жестокости. Он рассказывал мне несколько раз, что Бонапарт сообщил ему, так же, как и двум консулам, об аресте герцога Энгиенского и о своем неизменном решении; он описывал, как все трое видели, что всякие слова были бы излишни, и поэтому все они хранили молчание. Это, конечно, уже более чем достаточная слабость, но очень обычная для Талейрана, который видел положение дел и пренебрегал излишними разговорами, потому что они могут удовлетворить только совесть.

Оппозиция, мужественное сопротивление могут подействовать на человека, каков бы он ни был. Жестокий властелин, кровожадный по характеру, может иногда пожертвовать своей склонностью к силе убеждения, которую ему противопоставляют; но Бонапарт не был жесток ни по природе, ни по системе: он желал того, что казалось ему самым быстрым и самым верным; он сам сказал тогда, что ему надо покончить с якобинцами и роялистами. Неосторожность этих последних доставила ему эту роковую удачу, он схватил ее на лету, и то, что я расскажу

несколько дальше, докажет, что он покрыл себя этой знаменитой и невинной кровью с полным спокойствием расчета, или, вернее, софизма.

Через несколько дней после возвращения короля герцог Ровиго явился ко мне как-то утром⁴¹; он старался оправдаться по поводу обвинений, которые тяготели над ним. Вот что он рассказал мне о смерти герцога Энгиенского: «Император и я, – говорил он мне, – были обмануты. Один из второстепенных агентов Жоржа был подкуплен моей полицией; он рассказал нам, что в ту ночь, когда заговорщики собрались, им объявили о тайном приезде одного важного руководителя, которого нельзя еще назвать, и что в самом деле несколько ночей после этого среди них появлялась личность, по отношению к которой все остальные оказывали знаки большого уважения. Наш шпион описывал его так, что можно было принять этого человека за принца дома Бурбонов. В то же самое время герцог Энгиенский поселился в Эттенгейме, чтобы ожидать здесь успешного осуществления заговора. Агенты писали, что иногда герцог исчезал на несколько дней; мы заключили, что это делалось для того, чтобы появляться в Париже; его арест был решен. Когда шпиона свели на очной ставке с арестованными преступниками, он узнал Пишегрю в указанном важном лице, и, когда я сообщил об этом Бонапарту, он закричал, топнув ногой: «Ах, несчастный, что же он меня заставил сделать?!»»

Но вернемся к событиям. Пишегрю возвратился во Францию 15 января 1804 года и с 25 января скрывался в Париже. Генерал Моро донес правительству, что Пишегрю поддерживает сношения с домом Бурбонов. Моро считался человеком с республиканскими взглядами; быть может, затем он поменял их на идеи конституционной монархии. Я не знаю, будет ли его семья защищать его теперь так же горячо, как тогда, от обвинения в том, что он подал руку роялистам в их проектах; не знаю также, следует ли вполне доверять признаниям, сделанным в правление Людовика XVIII. Но поведение Моро в 1813 году и уважение, оказываемое нашими принцами его памяти, могли бы заставить поверить, что у них с давних пор были некоторые основания рассчитывать на него. В эпоху, о которой я говорю, Моро был сильно раздражен против Бонапарта. Не сомневались в том, что он тайно виделся с Пишегрю, по крайней мере он хранил молчание относительно заговора; некоторые роялисты, арестованные тогда, обвиняли его только в том, что он проявил благоразумие, ожидая успеха, чтобы действовать открыто. Моро, как говорили, был вне сражений человеком слабым и посредственным; думаю, что его репутация не вполне ему соответствовала. «Существуют люди, – замечал Бонапарт, – которые не умеют носить свою славу; роль Монка великолепно шла Моро; на его месте я бы действовал так же, но более искусно».

В конце концов, я привожу свои сомнения не для того, чтобы оправдывать Бонапарта. Каков бы ни был характер Моро, его слава действительно существовала, ее следовало уважать и надо было извинить старого товарища по оружию, недовольного и раздраженного; доброе согласие могло бы быть результатом политического расчета Бонапарта, какой он видел в Августе Корнеля, и это было самым лучшим из того, что можно было сделать. Но Бонапарт, не сомневаюсь, был убежден в «моральной измене» Моро. Он думал, что этого достаточно для законов и правосудия; его уверили, что улики найдутся, чтобы узаконить обвинение. Он считал, что обязан это сделать.

Уже несколько дней говорили о заговоре. Семнадцатого февраля утром я пришла в Тюильри. Консул был в комнате своей жены; обо мне доложили; меня позвали. Госпожа Бонапарт показалась мне смущенной, глаза ее были красны. Бонапарт сидел около камина и держал на коленях маленького Наполеона. В его взгляде была серьезность, но ни тени жестокости. Он машинально играл с ребенком.

⁴¹ Герцог Ровиго знал, до какой степени мы, мой муж: и я, были связаны с Талейраном, и желал в тот момент, чтобы, если это возможно, я была ему полезной.

– Знаете ли вы, что я только что сделал? – сказал он мне и в ответ на мой отрицательный жест добавил: – Я издал распоряжение арестовать Моро.

Я, вероятно, сделала какое-нибудь движение.

– А, вот вы удивлены! Это наделает много шума, не правда ли? Скажут, что я ревную к Моро, что это месть, и тысячу тому подобных пустяков. Я – и ревновать к Моро! О Боже мой! Он обязан мне большей частью своей славы; ведь я оставил ему прекрасную армию и сохранил в Италии только рекрутов; я желал поддерживать с ним только добрые отношения. Конечно, я его не боялся: во-первых, я никого не боюсь, а Моро – меньше, чем кого бы то ни было. Двадцать раз я мешал ему скомпрометировать себя; я предупредил его, что нас поссорят. Он это чувствовал, как и я, но он слаб и честолюбив, женщины управляют им, партии влияют на него.

Говоря так, Бонапарт встал, подойдя к жене, взял ее за подбородок и сказал, приподняв ее голову:

– Ни у кого нет такой доброй жены, как у меня! Ты плачешь, Жозефина? Почему? Ты боишься?

– Нет, но мне неприятно, что об этом будут говорить.

– Что же тут можно сделать... – Затем, повернувшись ко мне, Бонапарт прибавил: – У меня есть никакой ненависти, никакого желания мести. Я много думал, прежде чем арестовать Моро; я мог бы закрыть глаза, дать ему время бежать, но тогда сказали бы, что я не решился отдать его под суд. У меня достаточно доказательств для его осуждения. Он виноват, я составляю правительство; все это должно пройти просто.

Я не знаю, влияет ли на меня до сих пор сила воспоминаний, но признаюсь, что даже сегодня мне трудно поверить, что Бонапарт, говоря так, не был искренен. Я видела, что он делает успехи в искусстве обманывать, но в то время в его голосе еще был оттенок правдивости, которого позднее я в нем не находила. Быть может, это происходило и потому, что тогда я верила в него.

Бонапарт вышел из комнаты. Госпожа Бонапарт рассказала мне, что он почти всю ночь провел на ногах, обсуждая, надо ли арестовать Моро, взвешивая все за и против, без тени раздражения; на рассвете он позвал генерала Бертье и после долгого разговора решил послать в Гросбуа, куда удалился Моро.

Это событие наделало много шума; о нем говорили различно. В Трибунате брат генерала Моро, трибун, выступил с горячностью и произвел некоторое впечатление. Три государственных учреждения избрали депутацию, чтобы выразить сочувствие консулу по поводу опасности, которой он подвергся. В то же время в Париже часть буржуазии, адвокаты, литераторы – все, кто мог представлять либеральную часть нации, – горячились из-за Моро. Нетрудно было заметить известную оппозицию в интересе, который проявился по отношению к генералу; решили появиться громадной толпой в суде; раздавались даже некоторые угрозы на случай, если его осудят.

Полиция Бонапарта предупредила его, что Моро могут даже выпустить из тюрьмы. Бонапарт начал раздражаться, и я уже не видела у него прежнего спокойствия в отношении к этому делу. Его зять Мюрат, в то время губернатор Парижа, ненавидел Моро и старался ежедневно возбуждать Бонапарта гнусными донесениями; он сговаривался с префектом полиции Дюбуа и преследовал консула устрашающими доносами; к несчастью, к этому присоединились события: ежедневно находили новые разветвления заговора, а парижское общество упрямялось, не признавая его. Это была маленькая война мнений между Бонапартом и парижанами.

Двадцать девятого февраля открыли местопребывание Пишегрю, он был арестован, хотя отчаянно защищался. Это событие ослабило недоверие, но к Моро по-прежнему относились с интересом. Его жена придавала своему горю некоторую театральность, и это производило впечатление. Между тем Бонапарт, не зная судебных процедур, находил их гораздо более медлен-

ными, чем он полагал раньше. В первое время главный судья слишком легкомысленно обещал сделать процедуру короткой и ясной, а между тем могли доказать только тот факт, что Моро поддерживал тайные сношения с Пишегрю, что тот ему все доверил, но Моро ничего положительного не обещал. Этого было недостаточно, чтобы повлечь за собой осуждение, которое начинало становиться необходимым; наконец, несмотря на громкое имя, которое связано со всей этой историей, именно Жорж Кадудаль навсегда сохранил в мнениях и спорах положение настоящего главы заговора.

Невозможно представить себе волнение, которое царило во дворце консула; расспрашивали всех; расспрашивали о малейших разговорах. Однажды Савари отвел в сторону Ремюза, говоря ему:

– Вы были магистратом, вы знаете законы; думаете ли вы, что сведения, которые мы имеем, достаточны для судей?

– Никогда не осуждали человека, – отвечал мой муж, – только потому, что он не выдал проектов, о которых знал. Конечно, это политическая вина по отношению к правительству, но это еще не преступление, которое должно повлечь за собой смертную казнь; а если это ваш единственный аргумент, вы дадите Моро только очевидность, печальную для вас же.

– В таком случае главный судья сделал большую глупость. Лучше бы он воспользовался Военной комиссией.

С того дня, как арестовали Пишегрю, парижские заставы были закрыты для розысков Жоржа. Сильно огорчались, что он так ловко ускользнул от преследования. Фуше постоянно насмехался над неловкостью полиции и закладывал по этому случаю основы своего нового влияния; его насмешки возбуждали Бонапарта, уже недовольного, и когда он действительно подвергнулся большой опасности и видел, что парижане не доверяют истинности известных событий, то чувствовал, как его увлекает желание мести. «Видите ли, – говорил он, – могут ли французы быть управляемы законами и умеренными учреждениями? Я уничтожил революционное, но полезное министерство, и тотчас же составились заговоры. Я пренебрег своими личными впечатлениями и предоставил независимой от меня власти наказание человека, который желал моей гибели, а теперь, не зная моего желания, насмеваются над моей умеренностью, извращают мотивы моих поступков. А! Я покажу, как ошибаться в моих побуждениях! Я верну себе все свои права и покажу, что я один создан для того, чтобы управлять, решать и наказывать!»

Гнев Бонапарта рос тем сильнее, что он все больше чувствовал себя в ложном положении. Он надеялся подчинить себе общественное мнение, а оно от него ускользало.

Что может показаться странным тем, кто не знает, до какой степени форменная одежда убивает в людях, которые ее носят, привычку думать, – это то, что армия не подала повода ни к малейшему беспокойству. Военные делают все по приказу и воздерживаются от впечатлений, которые им не приказаны. Только незначительная часть офицеров вспомнила, что они служили и побеждали под командой Моро, а буржуазия была более взволнована, чем всякий другой класс нации.

Полиньяки, де Ривьер⁴² и некоторые другие были один за другим арестованы. Тогда начали немного больше верить в реальность заговора и понимать, что это все-таки заговор роялистов. Однако республиканская партия продолжала отстаивать Моро. Дворянство было испугано и держалось очень сдержанно, порицая неосторожность Полиньяков, которые заявляли потом, что не нашли того рвення, на которое рассчитывали. Ошибка, слишком обычная для роялистов, заключается в том, что они верят в существование желаемого и действуют на осно-

⁴² Герцоги Полиньяки (Арман и Жюль) и маркиз де Ривьер состояли адъютантами графа д'Артуа и входили в число заговорщиков.

вании своих иллюзий. Это свойственно людям, которые руководствуются своими страстями или своим тщеславием.

Что касается меня, я сильно страдала. В Тюильри я видела Первого консула мрачным и молчаливым, его жену – часто заплаканной, его семью – взволнованной; сестра Бонапарта нервировала его резкими словами; в обществе бушевали тысяча различных мнений, недоверие, подозрения, коварная радость одних, сожаление от неудачи предприятия других, пристрастные суждения. Я была расстроена, огорчена тем, что слышала, и тем, что чувствовала; я замкнулась в своей семье, с мужем и матерью; мы все трое расспрашивали друг друга обо всем, что слышали, и о том, что совершалось в нас самих. Ремюза, с легкостью его прямого ума, огорчился из-за совершаемых кругом ошибок, и так как судил он беспристрастно, то начинал предчувствовать развитие характера, который молчаливо изучал.

Его опасения причиняли мне боль. Я уже чувствовала себя несчастной от подозрений, которые подымались во мне! Увы! Недалек был момент, когда мой ум должен был проясниться еще более роковым образом!

Глава V 1804 год

Арест Жоржа Кадудаль – Миссия Коленкура в Эттингейме – Арест герцога Энгиенского – Мое беспокойство и настойчивые просьбы, обращенные к госпоже Бонапарт – Вечер в Мальмезоне – Смерть герцога Энгиенского – Замечательные слова Первого консула

После нескольких арестов, о которых я говорила, в «Мониторе» поместили статьи из «Морнинг Кроникл», в которых говорилось о близкой смерти Бонапарта и реставрации Людовика XVIII. Якобы лица, только приехавшие в Лондон, утверждали, что на этом событии там спекулировали на бирже, и называли Жоржа, Пишегрю и Моро. В том же «Мониторе» напечатали письмо одного англичанина к Бонапарту, которого называли «Господин консул». В этом письме ему посылали для его личной пользы памфлет, в котором рассказывалось, что нельзя применить к таким личностям, как Кромвель и Бонапарт, слово «умертвить», потому что убить и умертвить – не одно и то же и нет никакого греха в том, чтобы убить опасное животное или тирана. «Убить – не значит умертвить, – говорилось в памфлете, – это огромная разница».

Между тем в Париже получали со всей Франции обращения от городов и армий и послания епископов с приветствиями Первому консулу и поздравлениями Франции с тем, что она счастливо избежала опасности. В «Мониторе» тщательно печатали и эти статьи.

Жорж Кадудаль был арестован в марте, на площади Одеона. Он ехал в кабриолете и, увидев, что его преследуют, поспешно погнал свою лошадь. Один офицер полиции храбро появился перед лошадей, но был тотчас же убит Жоржем выстрелом из пистолета. Но вскоре Кадудаль был окружен народом, кабриолет остановили и пассажира схватили. У него нашли от шестидесяти до восьмидесяти тысяч франков в билетах, вся сумма была отдана вдове человека, которого он убил. В газетах поместили заметку с его признанием в том, что он явился во Францию, только чтобы умертвить Бонапарта. Однако я припоминаю, что рассказывали в то время: Жорж, показавший во время всей процедуры необычайную твердость и большую преданность дому Бурбонов, всегда отрицал план убийства, но признавал, что его проект состоял в нападении на экипаж консула и похищении его, без причинения какого бы то ни было вреда.

В это время серьезно заболел английский король; наше правительство рассчитывало на его смерть, ожидая выхода Питта из министерства.

Двадцать пятого марта в «Мониторе» появилась следующая заметка: «Принц Конде издал циркуляр, чтобы призвать эмигрантов и собрать их на Рейне. Один из принцев дома Бурбонов находится на границе».

Далее напечатали тайную корреспонденцию, перехваченную у человека по имени Дрэк, английского посланника в Баварии; благодаря ей становилось ясно, что английское правительство не пренебрегало никакими средствами для возбуждения смуты во Франции. Талейран получил приказание послать копии этой корреспонденции всем членам дипломатического корпуса, выразившим свое негодование в письмах.

Приближалась Святая неделя. В Вербное воскресенье, 18 марта, начиналась неделя моего дежурства у госпожи Бонапарт. Рано утром я отправилась в Тюильри, чтобы присутствовать на обедне, которая совершалась с большой торжественностью. После обедни госпожа Бонапарт находилась в салонах среди многочисленного двора и оставалась там некоторое время, разговаривая то с одними, то с другими.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.